

Вещь

1(25)/2022

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Проза

Андрей Пермяков

Виталий Аширов

Поэзия

Алина Витухновская

Вячеслав Хисамутдинов

In Memoriam

Семен Ваксман



Вещь

1(25)/2022

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

18+



3	Саша Андер, Иван Белецкий, Влад Гагин, Терентий Кондратенко, Борис Копица, Андрей Малышев, Рамиль Ниязов, Сергей Уханов, Сергей Финогин <i>Вероятные знаки (новая поэзия Санкт-Петербурга)</i>
22	Виталий Аширов <i>Шахматы, Теория молчащего мира: принцип шумовика (два рассказа)</i>
28	Алина Витухновская <i>Верблюды, мутанты и Делез (стихи)</i>
31	Андрей Пермяков <i>Тяжкие кони Ополя (травелог)</i>
56	Вячеслав Хисамутдинов <i>Зима в Зазеркалье (стихи)</i>
60	Катерина Гашева <i>Инфузория-в-туфельках (рассказ)</i>
78	Георгий Звездин <i>Я и тот, кто говорит это (стихи)</i>
81	Саша Андер <i>Дирка, сон и другие короткие истории (между стихами и прозой)</i>
88	Владимир Бекмеетьев <i>ЪБ (поэма)</i>
97	Семен Ваксман <i>Папа, это я (фрагменты документального романа с предисловием Нины Горлановой)</i>
113	Ольга Кныш <i>Скачи, враже, як пан каже (мемуары)</i>
121	Авторы номера

Вероятные знаки

Новая поэзия Санкт-Петербурга



Мимо антологий

Поэты, представленные на страницах этого журнала, совершенно разные. Многие из них не знакомы друг с другом, они обитают в удаленных пространствах, связь их не может быть обозначена никаким «эстетическим» эпитетом, кроме того, что живут они в Санкт-Петербурге в настоящее время.

Тем значительнее их сродство, таинственное, как родовое свойство материи, оно неоспоримо осязается, как гравитация. Не тяготея друг к другу, они объединены и схожи. Чем же, помимо массы русского языка, используемого каждым из них в меру своего либидо и танатоса? Вряд ли можно подобрать иной маркер, кроме точности, которая у каждого ответственная и сугубо своя, и еще трепета, считываемого безошибочно и сразу при первом взгляде на лист со стихотворной пьесой.

Что-то вроде золотодобычи — надо на свету смотреть на намыв породы. Вдруг блеснет на солнце.

Н.К и С.Ф.

Сколько сплетенных свистов прошлого
Пройдет в прятках до беспамятства:
Эй, впереди, Азат, хемшильский пастух
С дразнящей машмуркской головой,
Не покажешь мне тропу до берега Вана?
Обними покрепче и не оставляй спутника
На обетованной земле твоей слаженной
Обычаями, землей и радостями жизни.
Откинь подозрения о грехах и похоти,
Не чущих места своих проявлений,
Но опомни былое и сокровенное юности.
Оставь позади, распутав представления в безвестиях
И прощании поцелуем в ночном парке,
Когда разминулись мы с тобой, пятась в отдалении:
Не хочу воображать тебя издали,
Не веди меня испытывать легенду о плачущих.

Сеть

А что ждать от завтрашнего дня?
Закрывайте душных комнат окна, двери —
Светлым будущим днем
Мы достигнем золотого дна.
Против дрессуры людей солдаты панельных бараков,
Жертвенно в карманах сжимающих ключи,
Покуда жандармы Мордора, вертухаи паранойи,
Укачанные до сблева рессорами в сиренах карет
Под сплев трех слов патриотичной любви,
Поджидают у порога, охраняя диктат-палат.

В движении к геоточке через зиккурат по карте
Доносится шепот, гласящий, что:
Наша любовь — не ад и не смерть.
Больная, родная, все будет, будет все —
Отоспись и умри в танке на полном ходу.
А после проснись, какой еще не была ты свободной,
Скинув цепи свои.

1.

спой мне иволга песню
про последние берега
атомная война печальная дочь ностальгии
радиэйшн мьютейшн
говорил Сан Ра
огонь (огонь)

атомная война печальная дочь ностальгии
выбирая ретро выбираешь атомную войну
один мой приятель владеет магазином с винтажными шмотками
он тоже выбрал атомную войну
среди курток М65 и разных черных очков

я достаточно долго смотрел в религиозное небо
а теперь с опаленными веками к земле припаду я
говорил Сан Ра

за великими реками
за меловыми крестами
потерянными кинокамерами
за дюралевыми насестами
гром-птиц
встанет утро победы?

гудбай (гудбай)

2.

мой отец слушает одни и те же двадцать треков
оркестр поля мориа
жан-мишель жарр
группа спейс
в них звучат клавиши конца света
мелодии и ритмы летчиков в зеркальных очках

ослепительная музыка
под нее должны взвиться
нечеловечьи черные СТРАТОФОРТРЕССЫ
треугольные разрушители АВРО ВУЛКАН
серебристые осиные ТУ
серо-зеленые МИРАЖИ
стартовать в блеклое небо кодака и совколора
в хрустящий пленочный шум
пролететь над титаническим бараклом земли
пролить чистые вспышки того

что сейчас в наших белых домах
называют ретрофутуризмом

хах
нет никакой россии
кроме вебпанковой и сбербанковой
и обе плохо работают
хах
ветераны керамограницы
представьте в парке приземлится
разрушитель культурных слоев
представьте мертвые взбеленятся
а там и транспортные машины
везущие хлопок на Марс

представьте на поле желтейшей пшеницы
на поле тревожной спелейшей пшеницы
зажжется надпись:
падла тачка шмотье
и дымные сны
(курсивом выделено написанное нейросетью)
а как насчет пучка щавеля а
как насчет веточки калины
а как насчет лука-репейника
а как насчет пикантных блинов?
а как насчет глины труда
насчет дрожащих витрин истории
в черных магазинах окраин?
мультивёрсовый многоверстный Ленин придет
скол хэйп скол хойп
нэйп нэйп хоп

хочется чтобы это было
как хром кантри даниэля лопатина
чтобы неон
аптека 24 аптека РАКИ 24
чтобы почти что пальмы
почти что запах ночного моря
неслышимый маленький гул телевизоров
сливается в инопланетный огромный гул

чтобы смотреть как в одном из окон на одноэтажной улице
человека в трусах стригут за кружевной занавеской
и поет невесомый цифровой хор
чтоб еще выше в недостроенной офисной башне
собирались тревоги жирного мира
чтоб одиночество угловых домов

потом значит играет орган
из-за линии глитчевых гаражей и шиномонтажек
встает огромный — выше линии лэп —
человекоподобный робот
и начинает

Влад Гагин

я как бы буржуа без денег
вот в помещение заходит вера полозкова
и я пробиваю ей билетик
дальше можно написать про классы
про премию лицей и шортлисты
но я состою из дырок и ветра и гордости и цветов
и я стараюсь удерживать смерть бога
иногда это не получается и я молюсь:
верни мне мой дофамин и мою семью и любящих меня башкир
вера полозкова — королева пространства
я — маска, целлофан, крыса

если вам интересно, я как моргенштерн, только левый
и моя воля к власти проявляется в более изысканных формах
и мои друзья существуют в междометиях пространства
да, они предпочитают анаграммы аббревиатурам
да, хозяин угодий скован графиком церемонии
да, моргенштерн чуть свободней хозяина, но за это
он обязан растожествляться ежесекундно
до невероятного монументального мяса
а мы просто тусуемся вместе с гнилыми зубами
и трава из моей головы прорастает чуть дальше
и стрижи летят во все стороны по видеосвязи

многие не знают, что это бомбы
некоторые заявляют, что это танки
кое-кто пытается найти объяснение
говорит: солдаты и марши
кое-где я слышал, что едет крыша
хотя я думаю, что она протекает
я встречаю хрупких чудовищ, хрупких чудовищ
и предпочитаю в зеркало не смотреться
некоторые догадываются, что это стая
пранкеры звонят по любым резонам
воробьи у кирхи и всё нормально
фаллосы приветствуют лейтенанта
человеку снится война и море
это значит родство и кожа

Терентий Кондратенко

Врубайся в поэзию, музыку и литературу;
врубайся в политику, религию или даже теологию,
врубайся, пока видишь в матери старую дуру.
Врубайся, пока в тебе нет понимания или опыта.
Врубайся в историю и философию,
пока еще способен найти в этом смысл,
врубайся в психоанализ по Фрейду или
раннее творчество Пруста.
Пока твой мозг не заплыл жиром опыта,
пока над разумом и памятью главенствует чувство,
лови всё, что возможно поймать, и обязательно
в это врубайся.

Главное в этом дне —
солнце, палящее и вездесущее;
огромный шар в огне
так и норовит, падла, рухнуть.
Сигареты кончаются, хотя
когда бы им начинаться?
Новое слово, как бы нехотя и скрипя,

приходит на ум,
захватывая, порабощая,
принуждая изрыгать
себя
на нелинованную и свежую
бумагу. Какая всё-таки
мерзость эта ваша,
да и, чего лукавить,
моя, поэзия.

А ты всё такой же маленький,
но даже не капрал;
где оркестр и злато, где вызванный
из Рима Папа?
Ты-то не проиграешь своё Ватерлоо,
ты даже сто дней не отсчитал —
молодой генерал не схватил в руки
флаг, Аркольский мост пустует,
пока пирамиды заносит песками,
а небо Аустерлица, это бескрайнее
чистое небо, затянуто
тучами.

Борис Копица

ничего не легчает быстрее
этой пушинки, сотканной из лёгкости
застывающей в судороге сокращений
и напрягающей челюсть способности
выхватывать смысл из изображений
памяти, гонки вооружений
она легчает, ее сносит воображением
воображение — это асимметричный танец
способный сокращать
расстояния между
прошлым и будущим, снующими
туда-сюда из соображений совести, повести
но она
отказывается от любой исторической науки

и превращается в новости, в руки монаха
и кончает с собой прямо на улице
там табличка — клавиши
ты завралась, теперь меня ищи
вот я, у меня волосы дыбом встают
мысли приобретают животный вид
начинаются скачки, сумо, коррида,
для непосвященных плохая удача, необходимость, смерть
не сметь, говорю, не сметь
это ерничество, а не смерть
поэтому пусть встаёт и продолжает лететь
смотреть мне в глаза профилем, украдкой, вспышкой
она соглашается
задевает кивающей головой не-запах
казалось бы, мой запах, но кто знает
это же не-запах
я распознаю только эмоции
недоумение остаётся, бьется
в теле симулякра сердце
что ему ещё остаётся
она этого не живёт дважды
придётся научить ее смеху
треху закидывать с разворота
муху летнюю превращать в зимнюю
не бывает, говорю, таких мух
есть камин на борту дирижабля маленький
и он борется восточным огнём оранжевым
против замёрзшей капли на обрыве носа
нет, не переживёт она такого конфликта, босса
это странные аллегории, эти странные категории
разворачиваются в истории
где каналы арабской вязи
калликартографируют иней на стекле
она там
среди многого и между разного
в своём растворении
для меня

Желторотая осень, Меммий,
ковыряется мной в зубах.
Что останется от растений?
Пустота, но сначала прах.

Я предвижу, среди распада —
средоточие на себе.

И, пожалуй, что так и надо
приготавливаться к зиме.

А что будет иначе, Меммий?
Я, не уследив за рукой,
застрелюсь от своих сомнений
или хуже чего. Со мной

не бывало такого прежде,
а теперь не отлипнет, дрянь,
и, к надежде моей, невежде,
а надежда, простите, грань.

Я не вижу здесь солнца, чтобы
говорить, «движение есть».
Нам не будет другой погоды,
и вот это — дурная весть,

Потому что такие вещи
как туман, как лес без листьев,
и вороны, и (всё!) зловеще
из кошмаров глядит, из снов.

И, скорее всего, чтоб это
Пережить, побороть, снести,
в голове твоего поэта,
из холодной его земли,

на свет выползут боги, боги,
и останутся зимовать,
а материя, там где ноги,
перестанет существовать.

выкарабкаться из дремучего короба
дёрнуть за рукоятку
спрятаться навсегда
очередь-ярмарка из этого города
прятки с каракулями
измятых погодных условий
условностей жернова

жанр дневниковых случайностей
голод памяти
будущих сплетен долг
неизвестность фасованная

очаги раскаяния
в кармане капание и потерянная там рука

я смотрю поодаль вижу
что испортилось зрение кануло в близорукость
и теперь только буквы
грамматика выбора
сшивание местности снимками
в тыквы добытые экспериментально
мелькание бликов
кликов утрированная простота

да и года разошлись в улыбки
в мрачные своды
в лунные месяца

Андрей Малышев

Блаженный мой,
Есть, есть лекарство!
Но от нас его прячут

Мытари-пограничники
Изымают партии целые
Чтобы в пазухи носа упрятать себе
Эти соки волшебные
На основе...
Глянь, тут и формула есть...
Я химию плохо учила,
Но как писано сладко,
Там исконное всё и природное

Разработал бальзам врач прекрасный,
Гонимый за правду,
Он свяtilo научное,
Он не жадный, поделится!
И бесплатно почти:
Так, доставка, контейнер...

Вот читаю всё это —
Уже исцеляюся...

Так бы и вприснула разик-другой
Прям сейчас

Разыгрался б в крови
Гуморальный и клеточный
Золотой механизм
Ключик к вере моей
В первом классе вплетённый
Гладкой ленточкой
Бантиком в волосы

Липкой милостью дней
В звонком голосе

в камере окна сопротивление двум
стёклам
муха выделяется
крылья веером
тайна иловая клиновая мажжавеловая
деловая нежная распашонка стерильная
на прищепке
с потолка окапанная полка сосновая
книжная нужная разная

ладного нутра небывалое превосходство
равного всего сáмого

— откуда ты?
— я!
— Откуда ты пришла?
— Я!

отчаянная клеточка говорливая

вразпаковывании не отказывать

В трели свои верит Господь
Песни плодит
Ангелу
Кайф
Летит почтой

На мази всё
Облакам плотным
Дыры пошлы
Всё из небес
Хоть провались

Кучкой воскресли

Иск колдовства ист

Осені ручкой
Лист
Испиши
Лучше

Вертикальные
Ещё завитки обойные
Ввинтили телу тему нестройную
Нестроевую
Не больно ему
Соединить
Соски с висками

Руками тире точка тире руками

Втирающий краски в пальцы
Прижимать ревновать колоть
Тебе

Бревну на исходную

Из твоей косметички
Зелёным краситься

Вольную

Меджнун.

1.

на карантине
 пыль الكعبة المشرفة
 твой голос далеко
 хоть сообщения доступны которые
 جبريل
 и ты
 не прочтёшь

2.

в наших словах
 всегда кто-то есть (передаю
 привет К.)

давай поговорим
 будто мечеть с мечетью

3.

я пишу тебе
 из факультета свободных искусств и наук Нохчийн Пачхьалкх Ичкери
 ты наверное в Шамбале (там
 оказаться легче)

я кружусь под Layla by Derek & The Dominos (не под
 акустическую, а электронную версию)
 если долго продолжать то секунду
 я не вру что не люблю

4.

где-то есть
 либеральный прибранный рай не бомбящий ايران
 где мы пожали руки
 спросили могу ли я разбить твоё сердце и уйти и активно согласились туда продаются
 путёвки цена
 грешный мой тіл за потерянный
 заресничный ירושלים / القدس

5.

я кричу

очень тихо
чтобы не разбудить спящего отца

ты слышишь?

Ураза-байрам.

1.

время уходить и время возвращаться

2.

в моей памяти воображаемый тарикат
на входе
каллиграфически выведено
на ясном арабском:

о чем невозможно нельзя говорить,

о том только молчать

3.

бабушка наливает чай
с молоком маслом и солью
спрашивает

черна ли всё так же кааба

лгу что был
говорю
что да

бабушка врёт что верит
смотрит в чёрные глаза
говорит дай свою пиалу я налью ещё
и улыбается

4.

она её
так и не увидела

через занавешенное зеркало в ванной невозможно понять выражение лица человека
 в квадрате
 траурный белый пояс завязанный комсомольским узлом
 позавчера я укрыл его и он лёг скрючившись в позе эмбриона
 я вижу его тазовые кости они тоньше чем у бывшей
 когда умерла бабушка я был тоньше а сейчас
 могу взять его на руки
 человека породившего моего отца
 чтобы выйти на балкон покурить мне нужно пройти мимо
 одного сердца двух почек и прочего набора органов
 надо сказать что у него не коронавирус
 он умер мусульманином поэтому не надо плакать
 это просто смерть ☠ даже смайлик есть на это слово
 не надо превращать скорбь в траур
 не надо превращать скорбь в траур
 не надо превращать скорбь в траур
 я в истерике приползаю к нему он говорит всё хорошо потом
 мне пять лет он покупает пачку дорогого яблочного сока специально для меня
 я сажусь на неё и ничего из этого будто не помню

Сергей Уханов

Топот радостное ржанье
 Не сегодня воздержанье
 Воздержанье на потом
 Набирают уды силу
 Мы конечно не тужили
 Под неожиданным каблуком

Опоясывали плечи
 Для внезапного увечья
 Под узду влюбленно брали
 Что хотели то взалкали
 Уподобившись забралу
 Под лиловым ходоком

Становились грозным взмахом
 Откровенничали страхом
 И стремились слыть предметом
 Иль куплетом и билетом

Быть разоблаченным мамой
Папой бабушкой девицей
Иль сестрицей-рукавицей
Злополучной колесницей

Раки, раки нам свистели
Освистали расхотели
И отправили злосчастных
Отрешенных и увечных

Дай нам боже снова силы
Мы ее сто раз просили
Так наступят же однажды
Праздники запанибратства

Головного мозгового
Выхолощенного слюдяного
Как твоя рука в запястье
Как судьба у бога в пасти

Маленькие верблюджата
Нам постелят покрывала
Ласточки нежданным гамом
Завернут в свои раскаты

И придет рука благая
Судорожная ледяная
И тебя за горло хватит
Замолотит заарканит

Вот тогда поймешь однако
Защетинившись под маком
Что такое быть распятым
Или сваренным вкрутую
Раскуроченным омаром

Попеременный человек-огрех
С путаницей в языке
Оглоблями в голове
Поводком в скользящей реке
И вообще он в иных категориях

В его лапах циклический круг
Долженствующий годовой испуг

Он одновременно живой пастух,
Приют беспризорных и человек-невидимка

Неосмотрительность
Частичные детали
Вероятные знаки
Ничьи собаки —
Все равны
Вне зависимости
Наблюдающих за ними

С ними же утекли
Пространства очеловеченные
Души цветов и животных
Восставшие и увечные

А ты жни добро, серебро, янтарь, копейку
Не поминай их худыми сентенциями
Будут же всем даны прописные
Истины, словари, буквари, статейки

Красота увядающая вконец —
Он и Цезарь и Гоголь и Бахтин
И по всем увлечениям спец!

Представление было
Непредвиденным непредставимым
Ландшафт раскрывался как лицо
Удивительное бесчисленное
Неисчерпаемое, множество раз

Каялись ли они на погосте
На подкове озерной выверенной
На розовых стропилах
На жилах натянутых людских

Отдельные формы возникали на «лице»
С бегающими жилами, кровяными телами
Отступническими ледяными верхами
И низами «на буром коне»

Поразительное во взгляде:
Ярый вычеркивающий поток,
Поклеп суррогатный,
Идиосинкратический ток

Дуло вышло на пальчики
Обнесло с головы до пят —
Вот вам и милые зайчики
Вот вам и «наг в чистоте и свят»

Сергей Финогин

Баллада — 27

кто высадился с этими
воспринятыми лицами в меня
кто высадился с этими
пришедшими новостями в меня
кто высадился с этими
принятыми решениями в меня
какой такой десантник-партизан

в глубинах изъяснений он рыбец
его не уловить

он мягонько ластится в бессловесность
которая живёт под языком
и я её рассасываю спешно

и потому пока не скажут мне конкретно
и ты конкретно

как я себя чувствую
что собираюсь сегодня делать,
каковы души моей балансы?

и тд.

стопу я с горлышка
(метафорически разумеется)
не уберу
метафорически разумеется

Есть набережная, открытость пейзажа
И что-то да и, кажется, ну-ну.

Ладонь ложится на гранит и тело,
пронзает плотностью немыслимой вообще.

И здесь граница, за которой ничего,
Так щупается реальность бездны.

Разреженность гудящая ее
Сгущается и делается плотной.

Уютная тактильность мира
Даёт понять: мы ходим среди бездн,
Сгущенных до предела.

И зря не этот знала ужас, а другой.
И не зря написала объявление: «обнулю постиронию, недорого»,
И каждый прав, когда промолвит:
«Смотри, опять фонарь, библиотека».

Любой тут будет гуглить,
но не каждый:
«аполлон варится в ничто, видео».

Виталий Аширов

Шахматы

Вот я в шахматы шесть лет играю. Как некоторые водку бухают. А я — шахматы. Сажусь с утра — и до вечера. То на личес, то на чесском. Рейтинг у меня не растет. Как был 700, так и остался 700. Надоело. Сорок лет, здоровый лоб, а рейтинг маленький. Ну что я, хуже пятилетних, что ли? У них по 2000. А у меня 700. А у десятилетних — и вовсе по 2500. Жена не понимает. Какая, говорит, разница, какой рейтинг. Об стены не ударяешься, когда мусор выносить ходишь? Значит, интеллект. А меня напрягает. Проигрываю партию за партией пятилетним детишкам. Удаляю аккаунт. Опять восстанавливаю. Не играть что ли. И все заново. Проигрываю, восстанавливаю.

И так мне приелось тупоумие шахматное, что жить расхотел. Намыллил веревку, на улицу вышел. Думал, повешусь на детской пло-

щадке. Чтоб неповадно было. Чтоб видели мое тело выродки малолетние и плакали. Какого человека загубили! Интеллектуала! До площадки дойти не смог, об стену ударился. Поскользнулся на шахматной фигурке, и — бах. Головой.

Очнулся, а сосед дядя Коля с бухими корешами в шахматы играет. На свежем воздухе. Тут я взбеленился, кричу: что ж вы без меня! И рядом подсел. И, что называется, игра пошла. Сначала дядю Колю обыграл, правда, он не совсем в кондиции был, то налево завалится, то направо. Потом местному чемпиону спертый мат поставил. Ферзя спер, когда соперник к «Балтике» прикладывался. Фартовый ты, кричат. А ну по новой давай. И мы по новой. Откупорим и фигуры двигаем. Дядя Коля уже чертей под столом искал, когда я его на коневой вилке поймал. Он заплакал

от обиды. Другие тоже давай причитать. А я отвечаю: мало игроков моего уровня.

Так мы играли до утра. Я не проиграл ни одной партии. Фартило дико. А когда вылезло солнце, соперники собрались в кучку и, покачиваясь, на меня пошли. Думал, бить станут — ан нет. Покосились только. Мимо прошли, за площадку в лесок. И там повесились. Один за другим. В записке предсмертной написал: просим никого не винить.

Следствие началось, то-се. Я был под подозрением. Мент ко мне приходил. Молодой, подтянутый. Ты, говорит, спровоцировал суицид. Уедешь на десять лет лес валить. А я не хотел, у меня руки под шахматы заточены. А он наседали: сила в тебе дикая, людей доводишь. Да какая же сила, воскликнул я, когда ребенка обыграть не могу. Вот дайте мне ребенка. И хрен обыграю. Мент привел девочку. Я проиграл все партии, и он от меня отстал. Только кулак показал из машины, уезжая.

Потерпел недельку, и снова — на личесс. Через пару дней намылил веревку и на площадку отправился. А там благодать, весна, лужи блестят. Как-то и умирать не хочется. А все-таки надо. Смотрю — на столике пиво недопитое. Ну это непорядок. Подобрал, глотнул. Вижу — книга валяется, самоучитель шахматный. Дядя Коля в горячке оставил. Сел культурно, и вот значит прихлебываю и почитываю, прихлебываю и почитываю. И понимать начал. Раскрылась передо мной тайна шахматной стратегии. Дурень был, элементарных позиций не знал. А всего-то нужно нюансы прозревать, сильные пешки вперед толкать.

Все стало ясно. Я ведь книг-то по шахматам не читал никогда. А в них суть. Веревку выкинул и — в книжный. Накупил пакет целый. Выписывал позиции, схемы заучивал. Красоте поражаюсь. Какие жертвы проводил Таль! А Филидор? Разве не красавчик? Какие комбинации поднимал!

Полтора года прошло. Теперь на личесс играю еще чаще. Без перерывов на обед. Рейтинг у меня не увеличился. Как был 700, так и остался. И детишки обыгрывают как раньше. Зато я научно свои поражения обобщиваю и подолгу анализирую. С женой мы

развелись — permanently читающего мужа вынести не сумела. Да это ничего. У меня есть шахматы! — утешаю себя по утрам. А вечером утешает «Балтика». Шахматы не утешают. Страдаю от них.

Страдал, страдал еще полгода, совсем сделался просветленный. По глазам понятно — шахматист. Ну по рваным джинсам еще. По футболке вытянутой. По всем параметрам, короче. Страдал и не выдержал, вышел на площадку. Смотрю — маленькие дети в козла играют. Плюхнулся перед ними на колени, пополз. Руки протягиваю, шепчу: как набить рейтинг хотя бы 900? Испугались меня и кто куда убежали. Тогда я от обиды озверел, схватил маленькую девочку около магазина и на руках домой принес.

Трепещет дите, в слезах. Перед ней грязный, огромный мужик. Думает, будет насилловать. А я на колени — бух! Открой секрет, как вы, дети, рейтинг шахматный набиваете? Не скажу, говорит. Вот хоть режь, хоть насилуй. Ничего не скажу.

Тут я уже себя контролировать перестал. И давай ее щекотать. Дети щекотки больше всего боятся. Их топором руби — хоть бы хны. В бетон закатывай — ничего. А от щекотки в ужас приходят. Неприятно им. Щекотал, щекотал, она вся извелась и кричит: хорошо, расскажу, только отпусти. И рассказала. Оказывается, в любой партии нужно коня на эф девять держать. Если конь на эф девять стоит — проиграть невозможно.

Господи, как просто!

Отпустил ребенка, и — за компьютер. Дали соперника с ником *leviafan*. Ставлю коня на эф девять. И зависла игра. Не донес полклеточки. Мышка не двигается. Что за дела? А *leviafan* через колонки вкрадчиво так произносит: «Ты в окошко выгляни, чудик». Выглядываю — котлы везде, лава кипящая, черти бегают, грешники стонут. Схватился за голову. Вот это я попал! Выходит, когда вешаться шел, таки повесился. В дверь долбят черти, зовут на процедуры.

Тут каким-то чудом картинка отвисает. Прыгаю в кресло, перевожу коня куда нужно. И следующим ходом получаю мат. Обманула, скотина малолетняя.

Теория молчащего мира: принцип шумовика

Была весна. Мир звучал: звенели капли, пели качели, скрипели сырые сараи. Гулким эхом отдавались шаги в переулке. Надтреснуто и сипло матерился дворник. Пронзительно лаяла дворняжка. Грубо и шершаво шоркала метла. Гремел трамвай. Порывами налетал и выл ветер.

Глухо стучали ветки березы в окно первого этажа, где спал Сергей Полугаевский, самый удивительный убийца на планете. Он не обратил внимания на громкий стук голых ветвей, даже старый будильник не смог его разбудить. Он проснулся самостоятельно, в положенный ему срок. И сразу принялся прислушиваться и приглядываться. Мир звучал. Как вчера, как позавчера, как десять, двадцать, сто лет назад. Выл, гремел, скулил, шуршал, скрипел, шелестел, хрустел, хрупал, звякал, ухал, бахал, пел, кричал, стонал. Со всех сторон в уши вливались сложносоставные звуки. Сергей прислушивался и морщился. Его давно уже не поражала и не обольщала эта клоунада. Этот дешевый трюк. Много лет назад, в июне 1982 года, он понял кое-что баснословно важное про звуки, издаваемые миром, но лишь недавно стал относиться к ним с недоверием и брезгливостью. Все это было — от первого и до последнего скрипа, щебетания и треска — дешевой фальшивкой.

Впервые прозрение мелькнуло в нем, когда он, будучи юношей, неуклюжим, одуловатым и не очень умным, посмотрел по телевизору передачу про то, как создается в кинематографе иллюзия звучащего мира. Изначально полотно снимается без малейшего звука, потому что не существует технологий, способных одновременно захватывать изображение и звук. Затем на безмолвную ленту отдельной дорожкой в студийной обстановке добавляются звуки, призванные имитировать естественные взаимодействия

объектов реальности. Вот человек шагает по ступенькам, и мы слышим отчетливо: топ-топ-топ (на самом деле шумовик бьет черпаком по глиняному горшочку). Вот девушка поливает цветы из лейки, и мы слышим: взсссс (на самом деле шумовик переливает воду из стакана в стакан). Вот человек двигает стул: трррссс (на самом деле шумовик потер школьную линейку об ручку). И т.д. Бесчисленное количество звуковых отношений реальности повторяется бесчисленным же количеством студийных имитаций.

Это так захватило воображение Сергея, что он потратил несколько дней на вслушивание и вглядывание, представляя, что находится в таинственном немым фильме, и где-то за стенкой прячутся шумовики со своими нелепыми приспособлениями — ложками, вилками, гайками, чашками, ручками, крышками.

Парню шел пятнадцатый год. Тогда он был весел и полон жизни, и, может быть, поэтому не стал заострять внимание на любопытной теме, и быстро перешел к привычным занятиям — друзья, девушки (сколько их было?), учеба, спортивная секция. Жизнь была ключом. Будущее казалось загадочным и, следовательно, восхитительным.

Сергей окончил радиотехнический институт, но работу по специальности найти не сумел и устроился менеджером по продаже мебели. Легкая полнота (по мнению Сергея) привела к тому, что он не смог удержать рядом девушку мечты, русоволосую Настю с зелеными русалочьими глазами. Пришлось довольствоваться бойкой и некрасивой Таней, которая прожила с ним в браке 15 лет и неожиданно ушла к сослуживцу (ушлому прохиндею). Поговаривали, он ее бьет, поэтому Сергей злорадствовал. Детей они создали двоих — мальчика и девочку. Дети молчаливо предали его, оставшись с мамой и отказав-

шись навещать (да и что им было делать в его скучной квартире с видом на железную дорогу, с его скучным, понятным, назубок затверженным бытием). Он стоически принял известие, равнодушно отнесся к позиции детей.

Он в этом, конечно, не признается никогда, но именно отсутствие детей в доме стало медленно и непоправимо подтачивать его мягкой и вкрадчивой пустотой. Сергею оставалось два года до пенсии, он провел их суетливо и странно — то перевыполняя план, то не набирая даже десяти процентов. К тому времени он руководил офисом, куда-то звонил, на кого-то кричал и не тратил практически ничего. Деньги стали не нужны. Друзей у него не было, да он и не понимал их назначения. Выйдя на заслуженный отдых, Сергей продолжал зачем-то откладывать тыщонки на карточке, питался самым необходимым, редко выходил из дома и погрузился (как в пять, шесть, семь лет) в беспробудный просмотр телепередач. Он сильно обрюзг, облысел, лицо покрылось нездоровой желтоватой патиной. Вещи по-холостяцки лежали как попало и не нуждались в приборке. В сальных трениках, нестиранных носках Сергей сидел на диване и необыкновенно умнел. Через десять лет затворнической жизни он стал умнее многих академиков. В его голову закрадывались разные мысли. И тревожные, и пустые.

И однажды — как сияющий трамвай из детства — вернулась странная фантазия про озвучку телефильмов. Конечно, сейчас он был намного умнее того простоватого инфантильного подростка, каким был когда-то, поэтому принялся вгрызаться в эту идею со всей мощью накопленных лет. И так и сяк ее вертел, с потрясающей ясностью осознавая, что нечто важное упустил. Он мерил шагами однокомнатную хрущевку и думал. И вскоре стало понятно, что привычный обывденный мир — как и его кинематографический образ — лишен звука. Мир глух и нем. Ничего не шелестит и не грохочет. Не скрипит и не стонет. Не свистит, не шуршит. Не трещит, не щелкает. И рядом с событием звука притаились шумовики, всегда готовые постучать палочкой по столу, когда прохожий подни-

мается по лестнице, или звякнуть ключами, когда кто-то прикасается ложкой к блюдечку. Поэтому (осознал Сергей) звуки окружающего мира какие-то неестественные.

Ну конечно!

Мир сам по себе нем, и постоянно работают бригады заботливых шумовиков. Хотя иногда эти господа халтурят. С брезгливостью Сергей прислушивался к звукам, раз за разом отмечая противную фальшь. Не так звучат шаги! Не так стучит ветка в стекло! Как должен звучать мир, он и сам не знал, но точно был уверен — иначе. Он даже стал резко прислушиваться в неожиданных местах, надеясь застать врасплох шумовиков. И несколько раз это получалось. Однажды звуки просто не зазвучали, пущенный камень упал беззвучно. И лишь через полторы секунды явственно грохнуло: бух. Ага, вскинулся Сергей и потер руки. Вскоре они совершили еще один прокол, прозвев там, где требовался глухой стук.

Мир для Сергея превратился в поле звуковых экспериментов. Он хохотал, он насвистывал, он замечал несуразности. Он подолгу бродил по городу и грозил кому-то кулаком. И однажды под вечер в тухлой канаве ему удалось разглядеть одного шумовика. Тот как раз изображал скрип дерева. Сосредоточенно тер пенопластом по куску стекла. Обычный дворовой мужичок, только немного недооформленный. Как будто чуть смазанный (или в сумерках таким показался). В серой футболке и штанах «Адидас». С унылым длинным носом и длинной челкой. Не отличить от простого человека. Он заметил, что Сергей смотрит на него, но продолжал изображать скрип. Видимо, остановиться не мог. Вот ветер затих, дерево перестало шататься, и он сразу куда-то улепетнул. По дороге домой Сергей увидел еще двух шумовиков. А дома, тщательно обшарив комнату, нашел семерых. Под ванной, за кроватью, на шифоньере. Они были, по сути, везде, всегда готовые прошуметь, проскрипеть, протрещать. Короче, поддержать великую мистификацию звучащего мира.

Как настоящий человек, интеллектуал, Сергей любил естественность, искренность

и правдивость во всем. Он не спал всю ночь, обуреваемый смутными мыслями, восторгами, сомнениями и страхами. Утром попытался поговорить с шумовиками, убедить их в том, что они занимаются преступным деянием, обманывая целое человечество. Он вопил, заламывая руки, вставал на колени. Но их было ничем не пронять. У них не имелось совести и достоинства. Они смотрели на пламенного оратора нахальными глазами и продолжали трещать и поскрипывать. Тогда Сергей сорвался и со всей силы опустил кулак на голову наглого шумовика, который стоял возле батареи и булькал детской игрушкой, аляповато имитируя звук воды, льющейся по трубам. От шумовика осталось в буквальном смысле мокрое место, как от раздавленного паука или таракана. И мгновенно наступила тишина. Батарея не издавала ни звука. Сергей даже хлопнул себя по уху, на секунду показалось — оглох. Торжествующий, он кинулся на остальных шумовиков. Колотил и яростно вопил, пока не прикончил всех. Последним раздавил мерзкого прилипалу, который постоянно на цыпочках за ним ходил, некрасиво изображая звук его голоса. И сразу сделалось необыкновенно тихо. словно лопнула барабанная перепонка. «Так вот ты какой, мир!» — ликуя, подумал Сергей.

На следующий день он развил бурную деятельность по зачистке подъезда и ближайших дворов. Он чувствовал себя непобедимым борцом за спасение человечества. Мужички умирали легко и обильно, иллюзия звука лопалась как мыльный пузырь. Ночью под синими звездами вернувшись домой, он с наслаждением окунулся в тотальную тишину. Сознавая, что сделано немало, но большая часть работы еще ожидает, он испытывал бессмысленное и сладкое воодушевление, как в юности, когда часами стоял возле подъезда любимой девушки.

Ближе ко сну, ворочаясь в постели, Сергей как будто что-то услышал. Рывком соскочил и прислушался. Тихо булькает вода, тоненько свистит ветер, приглушенно шуршат шины за окном. В отчаянии он обошел квартиру и снова принялся думать. Звуки по-прежнему

откуда-то доносились. Только были гораздо тише, поэтому, видимо, на радостях он сначала их не заметил. В предутренней дреме, благодаря огромному уму, Сергей разгадал значение этих звуков. Ведь очевидно (если мир беззвучен), что и шумовиков кто-то суфлировал, кто-то давал им иллюзию того, что пенопласт в их руках скрипит о стекло, что ключи звякают. Кто-то ходил за ними и уже другими предметами имитировал звучание ключей, губок, цепочек и щепочек. Сергей назвал их младшими шумовиками и принялся искать. Вскоре был найден один младшенький — ростом в половину человека. Сквозь существо слегка просвечивала стена. С ненавистью Сергей набросился на него и раздавил. Затем в комнате и на балконе нашел еще пятнадцать гадов. Все были моментально раздавлены. Наступила тишина, но Сергей, тертый калач, не поддался обманчивому спокойствию. Он сидел и прислушивался. И вот оно — что-то тоненько, на границе полного молчания, посвистывало, поскребывало, пощелкивало. Возбешенный, он поднялся и бросился по квартире, перерывать вещи. И нашел еще одного. Адекватного наименования ему Сергей уже не смог подобрать. И назвал просто: третий. Третий был в половину меньше младшенького и бесспорно занимался тем, что (если мир все-таки беззвучен!) создавал для младшего иллюзию того, что и младший издает звуки. Их было уже больше, около тридцати. Размером с кошку, темные, неопределенные. Сергей крушил и давил шумовиков направо и налево. И уже даже не присел, а с ужасом прислушался, зная, что обязательно услышит еще что-то.

И он услышал. Бледные, ускользающие звуки. Четвертых уже было шестьдесят. Они сидели в самых неожиданных местах. Под цветочными горшками, за обоями, копошились в плите. Сергей носился и давил, в отчаянии понимая, что этим дело не закончится, обнаружатся другие, более мелкие, вязкие. И есть ли предел у них? Если мир беззвучен — то предела у шумовиков нет, мылил гениальный Полугаевский. Каждый слой созданий производит для последующего иллюзию того, что тот издает звуки. И край-

них в этом ряду попросту не может быть. Ряд уходит в дурную бесконечность, как взаимное отражение зеркал. Будет и пятый. И десятый. И сотый. И трехсотмиллионный. И миллиардный. Но что же тогда звучит, если они беззвучны и находятся в плену жалкой иллюзии? Звуки производятся самой бесконечностью многосоставного ряда, внезапно осенило Сергея, и лоб его покрылся холодным потом. Отсутствие последнего шумовика, издающего реальный звук, преодолевается бесконечным количеством элементов ряда, которые, накладываясь друг на друга, как бы спрессовывают тишину в определенные шорохи и шепоты. Борьба с тварями бесполезно — это борьба с самой природой, с мирозданием. Так оно создано. Так устроено. Богом, вселенной или черт знает кем.

И господин Полугаевский, чрезвычайно гордый тем, что проник в суть звуков, еще раз с благодарностью вспомнил телепередачу про искусство шумовиков. Она дала первый толчок. А дальше я сам, собственным гениальным умом. Нужно рассказать об этом человечеству.

В его сбивчивые, сумбурные объяснения, конечно, никто бы не поверил, поэтому Сергей решил написать книгу. Он пробовал писать лишь в раннем детстве. В семь лет сочинил стихи для мамы. Она зачем-то берегла клочок бумаги с корявыми, но старательно выведенными буквами. Мама умерла, а стихи остались и запомнились:

Тук тук тук

Аю рю дук

Вук вук вук

Альтависта фук

Книг он читал мало (да и что значил опыт недоумков по сравнению с его гениально-

стью?). И все-таки с удовольствием взялся за огромный труд своей жизни. Писалось легко. Схемы, идеи, образы, главы, параграфы, замечания и примечания так и сыпались на бумагу. Через девять лет беспробудного писательства Сергей завершил толстую рукопись в 44 авторских листа, озаглавленную «Теория молчащего мира: принцип шумовика». И отправил в единственное известное ему издательство «Научкнига». Увы, до почты на радостях пенсионер сходил без маски. Заболел коронавирусом и скончался.

Рукопись получили. Секретарь Настюша, девушка-филолог с красивыми томными зелеными глазами, анимешница и любительница энергетиков, распаковала посылку, вынула стопку бумаг, исписанных мелким почерком, и до позднего вечера они хохотали на пару с молодым чернобородым редактором: страницы были исписаны бессмысленными завитками и каракулями, кое-где встречались русские слова, вставленные случайно, без всякой связи, и далее — почеркушки, узоры, линии. Работа проделана тщательная, кропотливая, но абсолютно лишена содержания. В последнее время сумасшедших они не встречали, интернет-поколение оказалось практичным и грамотным, а старшее потихоньку вымирало. Книгу запихнули на дальнюю полку шкафа, где хранились курьезные тексты. Потом как-то растаскали по страницам, разодрали, использовали для расписывания ручек, других черных надобностей. А то, что осталось, до сих пор там лежит. И теперь уже не узнать, действительно ли Сергей Полугаевский был сумасшедшим или рукопись написана шифром, который скрывает тайну звуков нашего слишком громкого, слишком шумного мира.

Алина Витухновская

Верблюд, мутанты и Делез



Зима. Крестьянин торжествует

Зима крестьянин торжествует
 Зима крестьянин торжествует
 Зима крестьянин торжествует
 В его глазах такая радость
 В его глазах такая радость
 В его глазах такая радость
 Такая жуть такая тьма
 Откуда это состояние?
 Откуда это состояние?
 Откуда это состояние?!!
 Жизнь. Патология. Зима.

То что крестьянин не причина
 То что крестьянин, не причина
 То что крестьянин, не причина
 Но что тогда?
 С погодой что-то? Что с погодой?
 С погодой нечто? Что с погодой?

С погодой... Что не так с погодой?
 Все как всегда.

Вдруг торжество само собою?
 Вдруг торжество само собою?
 Само пришло, само собою,
 Само случилось торжество?!!
 Тожественно сокрытым жестам
 Оно навязчиво уместно
 Оно бессмысленно уместно
 И самоценно для него.

Как это страшно и типично!
 Как это страшно. Безразлично.
 Как это страшно безразлично.
 И как это теперь не так как было?
 Теперь не так. А как то было...
 Вообще никак. А как-то было
 Слегка не так...

Я истерических берёз
Навеки сделал обрезанье.

Нет, я не Байрон. Я Делёз.

Витальность отменяет гениальность

Витальность отменяет гениальность.
Что оставляет жизнь?
Изнанку лжи?
Нет, смерть нежней.
Её предпочитая с детства,
Я невесёлые слагала мифы зауми.
А Хлебников ел хлеб.
А я жевала сердце.

Ничего

Никому никто не нужен
И не любит никого
Затяни петлю потуже,
Завтра будет Ничего.

Затяни потуже пояс.
Может быть ты, Анна К.?
Можно даже лечь под поезд,
Разрешается УК.

С стивенкинговским приветом,
С хайдеггерским холодком
«Ничего» вам шлю. И нету
Ничего дурного в том.

Если б в детстве нам сказали
Все как есть отец и мать,
Ничего бы мы не ждали,
Мы пошли б его встречать.

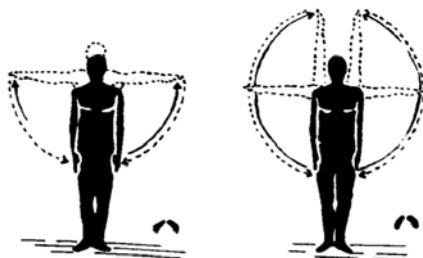
Как саднящую занозу,
Вынимаю из всего
Высший смысл, он в общем тоже
Оказался «Ничего».

Лезло будущее в щели,
Не пролезло. Как в ушко
Шли партийные кашеи,
А верб-люд — в ГУЛАГ-ушко.

Андрей Пермяков

Тяжкие кони Ополя,

или «Просёлки» через шестьдесят лет



Шестьдесят лет назад, в 1956-м году, Владимир Солоухин прошёл-проехал интересным и непрямым путём от речки Киржача до примерно города Вязники, написав об этом книгу «Владимирские просёлки». Я не то чтобы повторил его путь шаг в шаг, но гулял там же. У него получилась хорошая и надолго книга. У меня — тоже книга. А понравится или нет, так увидим.

Лучшая форма для длинного произведения — это путешествие.

Дж. Р. Р. Толкин

Заднее поле Петушинского района

Седьмого июня шёл мелкий дождь и сумерки не прекратились с утра до тяжёлого вечера, а четырнадцатого образовались неотложные дела. Поэтому я расписался с девочкой по имени Кошка Плюшка. Очень уж

хотелось сделать начало книги похожим на первые главы «Владимирских просёлков». Там ведь Владимир Алексеевич по Ополю не один ходил, а с супругою? Ну, вот.

Конечно, женились мы с Плюшкой только Вконтакте, но всё равно. С этой барышней я проехал автостопом много тысяч километров, а теперь она выучилась на художника. Правда, очень долго училась. Оттого к мосту через реку Киржач мы приехали в самой середине лета. И не на машине ЗИМ, а на «Опеле Астра». За рулём сидела другая девочка, её Олей зовут. Оля тоже будет в этой книжке.

Кроме того, ехали мы не со стороны Москвы, но с противоположной. Отчего так — тоже чуть дальше.

Зато дорога за шестьдесят лет почти не изменилась. Бери и цитируй Солоухина:

«Местами же путь автомобилю преграждали горы песка, вздыбленной земли, скопления землеройных машин. Поговаривали, что это не просто улучшается старое и доброе Горьковского шоссе, но строится великая дорога Москва — Пекин».

Угу. По сей день поговаривают, чего не поговаривать-то? В границах города Владимира эту дорогу так и называют Пекинкой. Может, для смеха, может, привыкли.

Моста деревянного не обнаружили, даже и свай от него. Зато чуть выше по течению от нового моста, капитального, речка Киржач достигает надлежащих размеров. С переезда-то она вообще ручеёк ручейком. Тем более — в июле. Попрощались с Олей, будто надолго и пошли, стараясь угадать места. Вот, например, песчаная лысина меж слаборослых кустов. Это, наверное, тут

«Безногий инвалид, оставив одежку и костыли на траве, полз по песку к воде, что бы искупаться».

Именно так, без сантиментов написано. Говорят, будто инвалидов этих из столичных городов вскоре после войны свезли куда-то на острова в специальный дом. Врут, наверное. Такой дом бы тысячу этажей занимал или много квадратных километров. У нас, в маленьком уральском Кунгуре, еще в восьмидесятых ездили укороченные войной по пояс люди на тележках, отталкиваясь похожими на деревянные утюги баклажками. Пили, конечно. А потом их не стало. Безо всяких островов не стало, просто так, от времени.

Рядышком от воды сделался просёлок. Две колеи, меж ними безблагодатная трава низкого роста. Значит, есть просёлки, а то я уж переживал. Правда ж: еду по федеральной трассе на Казань или далее, никаких просёлков не увидишь. Только автомобильные пробки, дорожная техника да остроумные надписи на деревьях: «Согласно постанов-

лению правительства, обочина является выделенной полосой для сексуальных меньшинств». Но всё равно легковушки норовят проскочить, всех обманув. Обочиной то есть. От этого дорожные заторы получаются ещё больше. Раньше путь от центра Москвы к Владимиру занимал три часа, а теперь, пятничным вечером, — до восьми¹. Ну, «авось, дороги нам исправят», да.

Ещё раз скажу: насчёт достоверности рельефа я сильно тревожился. Ведь жизнь длинная так-то, можно сочинить повестей сорок или даже пятьдесят, но только оригинальных. Документальных или художественных. А таких палимпсестов, в сущности, написанных поверх чужих книжек, — одну или много две. Не то явится на презентацию журналисточка в розовой кофте и спросит: «Чем обусловлено столь большое количество ремейков в Вашем репертуаре? Это нехватка новых мелодий, новых авторов?..» И сиди тут дурак дураком.

Однако вот: идёт себе просёлок. И ведёт к брошенному песчаному карьёру. Про него Солоухин тоже писал. Только был тот карьер неброшенным. Вскрабкавшись на горку, увидели животин. Пять лошадок и четыре коровы. Лошадки карие, коровы разномастные. Плюшка сделалась довольной. Она любит зверушек фотографировать. Ещё силосная яма рядом без силоса и запаха, а за нею сильно порушенная ферма. Собака бегаёт. Окрасом похожая на корову и на контурную карту: белая в чёрное пятнышко. Лает, но без фанатизма. Просёлочная дорога сперва растворяется в июльском лугу из дивных трав, а потом выныривает Центральной улицей деревни Заднее Поле. В той деревне ещё есть Дорожная улица и цех по созданию бревенчатых домиков. А более ничего нет.

Вернее, так: деревня эта перемешана с коттеджным посёлком Сосновый берег. Они даже на карте вместе. Видимо, люди, строившие посёлок, не захотели по неясной причине жить в деревне Заднее Поле Петушинского района, отчего сочинили отдельный посёлок. Теперь он деревню доедает, доел

¹ В 2017 году исправили, теперь до Владимира дорога более-менее, а дальше — всякая.

уже почти. Старых домов мало. Новые тоже очень разные. Много кирпичных, несколько брошенных. Два — брошенных и кирпичных одновременно. Строили хозяева и устали. Или передумали. А над одним бревенчатым, красивым очень домиком, стоящим за сплошным невысоким забором из крашеного металла, висит красный советский флаг. С молотом и серпом. Бывает.

Из-за этого домика к нам вышли две бабушки и внука. Общая внучка для этих бабушек. Мы спросили дорогу к Введенскому озеру:

— Ой, это вам в поле надо. Вот там, мимо домиков будет тропка. Потом в лес пойдёт, потом вам налево. А там долго-долго по полю. Вообще, не найдёте, наверное.

— Спасибо, — говорю.

Тропку мы нашли. И лес тоже. Там везде леса. А вот поле оказалось заболоченной вырубкой. Старой такой, уже берёзки выросли. Но Плюшка, идя, всё равно меня ругала. Говорила, мол, утопить её хочу. Вперёд отправляла. Там по карте действительно много болот, но они ж летом высыхают, делаясь безопасными. Вот понимаю: жили б тут гиппопотамы, так стоило бы опасаться. Словом, не найдя большого поля, мы свернули вдоль линии электропередач обратно в лес.

Это было славное время года. Лучше всех, конечно, свободный от дождей сентябрь, но и верхушка июля неплоха. Ещё осталась самая последняя земляника, спелая-спелая. Сладкая почти малиновой сладостью. И лесная малина тоже поспела. Не совсем, конечно, но уже слаще земляники. Размером они одинаковые почти: малина в чашках ведь мелка. А ежевика уже крупнее малины, но неспелая, бордовая такая. Её только для комплекта есть пока можно. Но больше всего черники. Ноги путаются в стелющихся кустах. Собственно, и бабушки с внучкой из коттеджного посёлка покинули лес с полными корзинками, хотя корзинки те невелики.

А вот здесь черникою занимались серьёзные люди. Особенно был колоритен высокорослый дед. В длинной кожаной куртке, брюках сурового вида и крупной шляпе, надетой поверх туго обмотанного вокруг го-

ловы платка, он хорошо напоминал мумию. Только усы смешно двигались при разговоре, и общий вид делался добродушным:

— Не. Вы ко Введенскому озеру точно не пройдёте. Тут надо лес знать, а вы ж не местные. Идите на большак.

Когда человек называет федеральную трассу М7 «Волга» большаком, то этот человек, вероятно, немолод. Может, и на самом деле с мумию возрастом: чего в жизни не бывает? Но так-то дед прав: одеты мы вовсе не лесным образом. Футболки и летние штаны — никакая защита от комаров. А тут ещё и паутины навроде бомбовозов. Оводы по-местному. Отбиваясь от паутов, Плюшка (её на самом деле Диной зовут), весьма напоминала кошку, гоняющую бабочек. Кстати, по паспорту она не Плюшка и не Дина, а наоборот: Ирина. Но это маловажно.

Гостиница «Затерянный мир»

Мимо Введенского озера мы сперва, конечно, промахнулись. Прав был дед. Зато по неплохому довольно асфальту пришли к другому озеру, к Белому. Оно маленькое, круглое и похоже на оладушку поперечником метров в двести. Немного совсем для озера. С дороги его не видно. Обычно к воде надо спускаться, однако ж тропинка чертит берег наискосок и вверх.

Вода в Белом озере чёрная. Вернее, медвежьего цвета. Торфяная. А берега да, белого песка. Плюшка, разувшись, бродила по воде, волны тёмные гоняла, шоколадку грызла. Звонила своим приятелям в Москву и Волгоград. Девушка ж всегда найдет, чем себя занять. А я отдыхал, сложив ноги на пенёк, чтоб выше головы были, и думал про цвета. Сначала про один цвет: например, этот белый песок — он разве белый? Вот дом около трубы на той стороне озера белый. Да и то облако его белее. А песок скорее цвета белого молотого перца. Значит, белый всё-таки?

Говорят, будто количество основных цветов — это один из показателей развитости языка. Основные — цвета это те, кто сами по себе, вне сравнений. Скажем, у японцев

в старину цветов было всего четыре: белый, чёрный, красный и синий. Нет, оттенков они различали множество, тут довольно любого взгляда на их живопись. И называли те оттенки поэтично очень и точно. Например, «обратная сторона ивовых листьев». Или поэтично, но неточно «кокетливый сине-коричневый» — он по-нашему ближе к хаки, но словом хаки японцы брезговали.

Так вот: сколько в русском языке самостоятельных названий цвета? Четыре японских безусловно есть. Кроме же них: жёлтый, голубой, зелёный, серый. Дальше сложнее. Коричневый — это, скорее всего, от цвета коры. Но есть его аналог — бурый цвет. Он точно самостоятельный. Или от древности самостоятелен сделался. И оранжевый пускай из чужеродных апельсинов, но рыжий-то свой.

От тихого ветра, от медленных Плюшкиных ног расходились волны. Мелкие, плавные. На волнах отражались облака, небо и два куста. Получались чистейший голубой, белый и бурый цвета. Они, не смешиваясь, прыгали по разным сторонам волн. Не палитра, но калейдоскоп. Прыг-прыг-прыг. А потом из разноцветного Белого озера вылезла голова с будильником, сказав голосом Кошки Плюшки:

— Отдохнул уже ведь? Пошли дальше.

Спал я секунд сорок или минуту, но отдохнул замечательно. Так бывает.

К Введенскому озеру мы топали по дороге с тоже приличным, но обгрызенным по краям асфальтом. Просёлки тут съел посёлок. И прежде чем увидеть озеро, упёрлись мы... Хотя нет. Я тут загадку вам загадаю. Вернее, спрошу немного почитать между строк. Раньше, говорят, это все умели. Итак, цитата из книги Солюхина «Владимирские просёлки»:

«На другом берегу озера белелись каменные постройки. Оттуда доносились голоса, обрывки песен, девичий смех.

Неслышно подошел и встал сзади нас человек. Мы оглянулись, когда он кашлянул, и не знаем, долго ли стоял он молча. Ему было лет шестьдесят. Он был брит, сухощав и морщинист, а на голове копна не то курчавых, не то непричесанных волос. Болотные резиновые сапожищи бросались в глаза прежде всего.

— *Дворец-то ваш? — кивнул я на дом с террасой.*

— *Нет, милый, я ведь здешний лесник, а у лесника какие дворцы. Завхоз был один, вон в той колонии работал. — Старик показал на другой берег озера. — Да, сорок лет работал».*

Ну, чего? Я пока местность не увидел, тоже в голове не сопряг девичий смех и колонию. Но вот читатели пятидесятих годов, думаю, быстро сообразили. Был такой язык: «русский эзопов». Пусть не на «том берегу озера», а на острове, лежащем в серединке его, долго-долго располагалось заведение для малолетних преступниц. А потом, уже в середине девяностых годов, директору этой колонии во сне явился дед и сказал все домики вернуть монастырю.

Колонию перевели на бережок, обозвав сообразно времени: «Федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Покровское специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа». Это немного другой извод эзопова языка. Тюрьма, она тюрьма и есть. Хотя снаружи мило так выглядит: проходная в ромбиках изразцов. Чуть впереди нас шла симпатичная мадам, кудрявая шатенка. Мы поинтересовались насчёт короткой дорожки к монастырю:

— Да вот, от училища, через теплотрассу, где мостик. Сразу и увидите.

— Ага, спасибо. А это вот — колония для девочек, да?

Женщина отчего-то тут же сменила регистр:

— Это спецПТУ. В нашем заведении содержатся и получают профессию девушки в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, обеспеченные всем необходимым.

И скрылась в дверях вахты. А ещё говорят, будто русский народ языков не знает. Вон сколько в нашем разговорном непохожих диалектов.

Про женские колонии рассказывают ужасы. И про колонии для малолеток тоже ужасы. А уж про женские колонии для малолеток... Говорят, к примеру, о нетривиальном исполь-

зовании прорезиненных ручек на больших отвёртках фирмы Stayer. Не знаю. Всякое может быть, конечно. Через забор с помоста много ли разглядишь? Два здания побольше других, наверное, жилой корпус и мастерские. Домики помельче, огород. Сам забор так себе: деревянный из ровных некрашенных досок. Такие ограждения мне всегда напоминали трассу, поставленную набок. При желании одолимая преграда. Дверь, правда, металлическая, белая. В местной и федеральной прессе об этом спецПТУ ничего не пишут, а во Владимирской писали нехорошее. Дескать, условия бытовые так себе, духота, нет занятий, дисциплина суровая. Опять-таки, ни подтвердить, ни против сказать не могу. Хотя на сайте колонии есть фотографии. Там у воспитанниц явный лишний вес. Ну, а что? На работу под конвоем, с работы под конвоем. Еда вряд ли такого уж замечательного качества, чтоб у персонала возник соблазн её воровать. Насчёт спорта тоже беда. А толстенную девочку легче комиссии предъявить: смотрите, у нас теперь не голодают.

Сквозь прибрежные ракиты уважительных размеров видна поломанная купальня. Совсем поломанная, негодная. Может, всё-таки сбежала отсюда какая-нибудь девушка и остальных больше на озеро не водят? Хотя куда тут сбежишь? Купальня расположена меж длинными мостами, трогательным деревянным и новым с металлическими перилами и парадной аркой на входе. Оба моста ведут на остров, плотно застроенный монастырём.

Мы сперва по старому мосту туда выйдем. У него перила кривые, интересные. В озере уже чуть-чуть начинались кувшинки, и снова не хватало гиппопотамов. Плавали б такие, фырчали. Стрекоза размером с летающую шариковую ручку села на шею Кошке Плюшке, отчего девушка забавно взвизгнула, замахав руками. Это чрезвычайно оживило дежурную фотосессию. Такие фотокарточки я обещал не показывать. Пока держусь.

Маленькая калитка открывается в огород. Он смешной. У монастыря есть настоящее подворье в деревне с названием, пришедшим даже не из позапрошлого мира, а

из вовсе небывалого: Матрёнино. Здешний же огородик так себе — воспитанницам побаловаться. Чуть к труду поприучаться. Да-да. В монастыре кроме сестёр обитает малышня. И не совсем малышня тоже: девочки от младенческого возраста до совершеннолетия. С малым допуском — ровесницы тех, кто в колонии на берегу. И тех воспитанницами называют, и этих. Так получается не от бедности русского языка, конечно. Так получается от его деликатности — синонимов у слова «воспитанницы» много, но все они обидные хоть чуть-чуть. А ещё это о судьбе немного: явно ж и у монастырских, и у колонских девочек жизнь началась так себе. Но дальше вот по-разному слагается.

Хотя ведь и про женские монастыри плохое говорят. Вполне знаменитая монахиня-писательница Кассия, она же в прошлой жизни Татьяна Сенина, категорична: «Хороших женских монастырей в России нет». Даже многие батюшки девушек из своих приходов уговаривают мира не покидать. Обижать будут, говорят. Не пчёлкой трудовой станешь, но мухой, весьма погоняемой.

У ближнего к острову края моста укреплен плот из белых досок. Большой такой. На нём застеклённая веранда. Или каюта — коли уж речь зашла о плавсредстве. Здесь продают монастырскую выпечку. А ещё, например, пельмени. Даже мясные. Их, наверное, воспитанницы лепят: монахини ведь, кажется, мясного не едят. Соленья разные ещё продают, молоко. Всё из того самого подворья с дивным именем Матрёнино. Только рыба копчёная из других прудов. Лежат форели и прочие. Морды похожи на зубастые противогазы.

Цены повыше магазинных, качество тоже. Коровы весь год на траве и сене, без силоса. Нам сделали коктейли из лужайкового молока. Мороженки были обыкновенными, сироп вообще так себе, а молоко — вот это. Вкусно очень, я аж взревновал. Просто трассы привели нас с Кошкой Плюшкой однажды на Урал. В тот самый родной мой Кунгур. А там, в трёх минутах бега от школы № 1, располагается кафе «Сладкоежка». Обычная стекляшка типа «Уралочка». Но вот коктейли

и желе там необычные. Лучшие в мире они там. Вернее, из пробованных мною, Плюшкой и ещё множеством опрошенных знакомцев — лучшие. Но тут в монастыре — вторые по качеству. Да ладно, пусть будут даже не «вторые», а «такие же». Желе-то здесь нет! Так что в комбинированном зачёте «Сладко-ежка» победила.

Зимой плот пустеет. Около него плавают большой-пребольшой ТЭН. Трубчатый электронагреватель. Без него озеро полностью замёрзнет, отчего загрузят утки и каждая рыба. Помните ведь: подошёл к Солоухиным бесшумный дед и рассказал:

«Задыхается наше озеро почесть каждую зиму, а рыбе это ущерб. Конечно, глубины большой нету, шесть метров — самая глубина. Вон Белое озеро рядом, у того другая статья. Вода — что слеза! И глубины метров тридцать пять будет. Ямой оно, Белое-то озеро, огромной ямой. Зато и холодна же вода. Рыба от холодной воды вся и ушла. Видать, подземное сообщение у того озера с рекой... или с морем каким...»

Теперь дедов, так разговаривающих, нет, но удивление остаётся. На самом деле Белое озеро — карстовое. То есть глубоченная воронка в земле, исполненная водой. А это, Введенское, мелкое, совсем иного происхождения. Хотя перемычка земли между этими озёрами метров в сто. Мы, кто люди, разберёмся чего к чему. Но птицы, думаю, запутываются в понятиях. Был в Китае тысячу лет назад поэт Су Дунпо, он же Су Ши. Писал: «Весенняя вода теплеет в реке — умные утки узнают об этом раньше других». А тут наоборот: весной ТЭН вынимают, делая воду чуть холоднее. Умные утки, наверное, дивятся сильнее неумных.

Кафе же, добавив к меню борщ, на зиму переезжает в один из монастырских корпусов. Они тоже старинные и хороши собой. Мебель с давних времён осталась, пузатая. Тут вообще из совсем нового только звонница и цветники. Хотя это с чем сравнивать — старинные корпуса или не очень. Первые два монаха — Тимофей и Сергей — пришли на остров ещё при Петре. Тогда город Покров начал становиться торговым, шумным, пугая

иноков, любивших тишину. Впрочем, городом Покров не был, именуя себя Антониной пустыней. Озеро существовало, конечно. Но тоже обзывалось иначе: Вяцким. Не-а, не в честь города Вятки, бывшего Хлынова будущего Кирова. А скорей ради вятичей, живших отсюда до самой нынешней Литвы. Гидрономы ведь дольше хранят имена, чем жилые места. Такая вот память воды.

Далее всякое было с монастырём, заселяли вот его понемножку. Особенно из настоятелей известен сделался отец Клеопа. Судя по воспоминаниям, был он человеком сложных нравов. Южанин из Молдавии. Он то в пустыньку уходил, то в родную Валахию сбегал. В тюрьме даже посидел. В специальной, конечно, в монастырской. На особом, получается, режиме. А кто сказал, будто монах тихим должен быть? Это ж огонь внутри. Хотя и светлый огонь. Словом, при нём обитель расцвела, а дальше разное было. Теперь снова не худший вариант.

Зачем девушки и женщины приходят в монастырь насовсем, я не знаю. Точнее, про нескольких знаю, но из других монастырей. У них был серьёзный выбор, долгий. Тут же у меня знакомых монахинь нет. Паша тоже мало рассказывал о своём здесь гостении. Есть, правда, одно косвенное свидетельство. Некая моя знакомица, очень юная, но совершеннолетняя, пошла в этот монастырь сдаваться. Не совсем всерьёз, а с похмелья и личных расстройств. Ей игуменья или кто-то другая ответила:

— Настя, у нас тут все с такими личными проблемами, что твои тебе очень маленькими покажутся. Ты поспи вот тут пока, дальше поешь и обратно иди.

Хотя, может, так просто сказала, в утешение: из Насти монахиня не очень.

Между большим Введенским и маленьким Белым озером отдыхает посёлок. Тоже Введенский по названию. Славный вполне. Дома в советских мозаиках, детский сад. Трёхэтажная гостиница бурого кирпича. Я подумал, будто облицевали заново давнешнее строение. Однако нет. Два славных и болтливых человека (их так и хотелось назвать «бабушка» и «дедушка») рассказали:

— Здание новое, хорошее совсем, проходите к нам на второй этаж. Только вот буфет не работает, но завтра будет. А вы у нас ведь останетесь?

Мы б остались, там правда неплохо. Хотя... Ладно, раз уж про колонию сплетен насводил, про монастыри насводил, так про гостиницу чего слышал, тоже расскажу: тут, говорят, любит проводить время мелкое начальство из ближних городов и средних масштабов бизнесмены. Разное бывает. Впрочем, нам-то с Плюшкой чего бояться? Мы и в подсобках ночёвывали, и в чистом поле. Но правда: на дворе едва-едва запыленье. Куда тут ночевать-то?

Покров с листа

...окруженный лесами, торфяными болотами да озерами в этих болотах городочек Покров.

В. Солоухин. Капля росы

Шли мы возле кладбища. Старое-пре-старое, уютное.

Писатель Сергей Фудель тут лежит, но его могилу найти трудно. Легко найти совсем иные погребения. Чёрные стелы вдоль главных аллей. В них небо по утрам хорошо отражается. Тогда ростовые фигуры на каждой из стел тоже кажутся отражёнными в тёмных водах. Кто в костюме, кто в штанах спортивных. Ещё бывает прямо как в песне: лежат два брата, а рядом мама. У братьев день смерти один, а у мамы — чуть позже. Но тем же годом. Молодцы, чо. Герои. Порадовали старушку обеспеченной, долгой старостью, нервы ей сберегли.

Если в одной оградке похоронены папа и сын, картина чуть иная. Батя оставил этот мир, скажем, в семьдесят девятом году, когда наследнику исполнялось годика три. Сына положили рядом спустя четверть века. Тридцати ни тому, ни другому не было. Тут уже не песня, но эссе семейного психолога на тему важности отцовского воспитания для мальчика. Но тем эссе не веришь, а датам на памятниках веришь.

Всё-таки на сто первый километр высылали не одного Сергея Иосифовича. Да и колония в окрестностях города не только для девочек. Пойдём мимо автовокзала и налево. Там, на улице Октябрьской революции, есть тюрьма. Она всегда в том месте была. С начала XIX века, когда Сибирский тракт построили — точно всегда. Теперь это не простая тюрьма, а туберкулёзная. У одной моей знакомой в ней мама долго работала. Рассказывает: и вправду окна в этой тюрьме необычные, большие. Те, что на внутренний двор, конечно.

А ещё ближе к вокзалу — колония-поселение. По старому «химия». Из чахоточной тюрьмы люди выходят реже, из колонии почаще. Многие тут остаются, способствуя перемене нравов города. Кроме того, перед московской Олимпиадой сюда и в посёлок Усад из столицы выселили цыган. У цыган свои дела и свои могилы.

Попадают дореволюционные надгробия в виде часовенок, сложенных из кирпича, а затем оштукатуренных. Ни эпитафий уже не осталось, ничего. Молчаливые такие башенки стоят. Это, наверное, хорошо само по себе. Грустно другое: получается, ни у кого из лёгших тут полутора веками ранее не осталось помнящей родни. А вообще славное кладбище, хаотичное. Могилки не рядами, но будто домики в старинном азиатском городе. Проходы узкие, лабиринтами. Трёх шагов прямо не ступишь — в ограду упруешься. Со-сны опять же.

К самому финалу XIX века в Покрове настал не золотой, конечно, век, однако неплохое время. Сам городок остался непромышленным, капустным, а вот в уезде многое переменилось. Уезд тот был достаточно большим, включая, скажем, Орехово со всеми его ткацкими фабриками. Село Зуево принадлежало Московской губернии, а Орехово Владимирской. Морозовы, владевшие обоими сёлами, думаю, налоги платили как надо, и Покров, уездная столица, весьма переменился. Про мужскую гимназию я уже сказал, но женская ещё красивее получилась, что вообще-то логично. В готическом стиле, с двумя башенками. Так модно было. Конечно, извоз по Сибирскому тракту не прекращался

никогда, тоже власть денежкой снабжая. Понятное дело, революцию город встретил без восторга.

Вот его и понизили в звании. Уезд формировали, Покров относили то к одному району, то к другому. И началось пике. Александр Михайлович Копировский, ещё совсем не профессор богословия, а студент Плешки, писал о своём визите к Фуделю:

«Мы собрали, по нашим масштабам, не так уж мало. Но зная, что купить хорошие продукты в Покрове невозможно, загрузились ими в Москве и поехали, взяв рекомендательное письмо от Николая Евграфовича, — Георгией и я. Запомнились убогость провинциального маленького городка (вдобавок — еще и жуткое название улицы, на которой жил С.И.: «Больничный проезд»), бедная обстановка в его доме, абсолютно пустой холодильник... И, как явление иного мира, особенно контрастное в этой обстановке, — большая Тихвинская икона Божией Матери в углу».

Ещё ведь и за водой Фудель, старенький, на колонку ходил. Газа не было.

А напоследок советская власть сделала городу маленький подарок. Открыли институт ветеринарной микробиологии, несколько заводов открыли, подлатали дороги. Потом опять известные дела. Тут, говорят, долго существовал серьёзный пункт оптовой торговли афганскими веществами.

Чего делать надо? Я не знаю. А другие советуют, например, со взятками бороться и начальство чаще менять. Вообще-то, меняют и борются. Три мэра подряд из кабинета ушли под суд. И чего? Есть ведь такая сумма, за какую и посидеть в тюрьме можно. А вот Фёдор Николаевич Колчин управлял городом целых пятнадцать лет, с 1902-го до понятно какого. При нём едва не все нынешние скромные красоты архитектуры и появились. Он долго прожил, до самого почти конца войны. Смотрел, думаю, на городские перемены удивлённо.

Хотя «купить хорошие продукты в Покрове невозможно» А. М. Копировский сейчас бы не написал. Тут рынок отличный. Своё всё есть и привозное. Можно, конечно, ворчать — отчего белорусский суджук дешевле и лучше

армянского, а можно и не ворчать. Нормальный такой выбор. В Москве на крытых базарчиках похожий был. Но в столице вольные рынки съедены торговыми центрами и коррупцией, а тут пока нет. Вообще, про тему город Покров и еда отдельно чего-нибудь напишу. Только надо сил и здоровья накопить. Просто вдоль улицы Ленина (она же Большая Московская, она же и есть Сибирский тракт) на участке в три с половиною километра — от автовокзала до посёлка Нагорный — расположены двадцать четыре поящих-кормящих заведения и два ещё под вопросом. Решив их обойти за один день, вы должны серьёзно подготовиться. Ещё ведь через федералку туда-сюда бегать: заведения-то на разных сторонах большой дороги.

Но вообще знание, отчего «Славянка», хоть с виду и похожа на любую забегаловку для водителей, кормит вкусно, а «Дружба», называясь рестораном, может вообще не покормить, достойно потраченных усилий. Только всё равно дальше середины вы путь не пройдёте. Там, возле удивительно выгнутого памятника шоколадной фее, расположен пивной зал, а в нём ассорти из домашних колбас на полтора килограмма. И ещё официантки много где знакомые. Приходишь, она поднос гостям тащит и вроде бы шёпотом, но слышимым половиною гостей:

— Андрюха, привет! Прикинь, а у меня месячных нету!

Ты смущаешься:

— Эмм... а я-то при чём?

— Не, это я просто так тебе! Ну, ты же врач, что это может быть?

Ты, вроде, и врач, и что это может быть, догадываешься, а всё равно чувствуешь себя изумительно.

Ещё в Покрове можно обувь хорошую купить. Приезжайте — расскажу где. Больше ничего, вроде, интересного. Хотя это для чужих ничего интересного. А начнёшь вспоминать, так от самого вокзала досюда разное бывало. Вот раз приезжаю на электричке из Владимира, во двореке семейство ужинает. Хорошо трапезничают, уютно. Их из окошка видно, а с перрона нет. Но я решил непременно заснять такую идиллию. Полез на перила. Они

там шириной сантиметр, много — полтора. По дури многое же кажется весёлым и простым. Забрался. Пташечка этакая на жёрдочке. Воробушек об центнер веса с большим запасом. Хлопнулся, конечно. И головой ровнёхонько о поперечину. Разбить не разбил, но мятинка на темени осталась. Говорят, у Лао Цзы такая же была. Может, тоже поумнею.

А тут, подле общежитий, я и знакомая барышня делали с её котом то, что мир делал с Григорием Сковородой. В смысле, мы того кота тоже ловили, но не поймали. А вот тут... Ой, всё. Жадность одолела. Лучше про занятые случаи отдельных рассказов насочиняю. Когда-нибудь. Тем более нам уже поворачивать вот-вот.

Город из другой книжки

*И так уж тихая станция совсем
затишает, и тишина охватывает нас.*

С. И. Фудель. Воспоминания

В сторону Иванова и Гаврилова Посада от Александрова бегает неимоверно трогательные поезда². Там основная часть пути не электрифицирована, поэтому от станции уходит бурый тепловоз ТЭП-70 старой модификации, похожий на пожилого мастера-часовщика. Очки надевает, хмурится, такой. За тепловозом два вагона. Один прежний, си-не-зелёного раскрасу, а второй модный, того самого цвета металл. Хотя разное бывает, внутри составов часты перемены. Раньше такие составы называли «поезда с тётками», и тётки, проводницы то есть, были там очень злы, гоняя безбилетников. А теперь обленели и подобрали. Прибыли-то никакой.

Изнутри вагоны тоже разные. Цена одинаковая, а суть разная. Старые, маскировочной раскраски, это обычные плацкарты или общие, вышедшие уже на пенсию с крупных дорог, но ещё крепенькие, им в переплавку рано. Внутри ездят разные люди, но больше всего женщин возраста за сорок пять. Они

«с Ив́анова» текстиль доставляют в Александров и другие города. Обратно денежки vezut. И ягоды покупают в трёхлитровых банках. Для варенья, наверное. Ещё эти дамы порой интересно разговаривают. Вообще, обыкновенно, но кое о чём — интересно. Скажем, ручки сумок они называют шлейками. А вместо «выгружу» говорят «выгру». Часто, наверное, выгружать приходится, они и сокращают.

Но обыкновенного всё ж говорят больше, чем интересного. Одна вот на мужа своего жаловаться начала. Сидит, мол, такой дома, на военную пенсию вышел, не работает, только ест и ест.

— Ослиная талия у него стала. Бывает ослиная, так у него — ослиная!

Но разговор не заладился, и все тётеньки уснули. И то сказать: зачем про своих мужей вслух ябедничать? Кто головой к окошку спит, кто в проход. На жаре стоя торговать целый день с малозначимой прибылью — изматывает же.

В сидячем вагоне едут те, кто меньше устал. В гости, например, или по закупкам. Там и разговоры дольше. Однажды при мне мужчина шестидесяти трёх лет необыкновенно быстро познакомился с пятидесятиоднолетней одинокой дамой в шляпке. Это они сами возраст называли. Мужчина чего-то рассказывал о восточной и простой астрологии, для чего ему понадобился год и месяц рождения спутницы.

Ещё этот человек работал экскурсоводом и слыл, наверное, интеллектуалом. Говорил:

— Вот мы проезжаем село Бавлены. Оно почему так называется?

Дама, замороженная усами и эрудицией, молчала.

— Так вот: совершенно очевидно происхождение названия! Тут рядом церковь Богоявления, село называлось Богоявленским, а потом название сократили.

Усатый, может, прав, а может, и соврамши. Церковь там рядом есть, да и красивая. Но вот в Татарстане город Бавлы. Он уж точно не от Богоявления произошёл. Говорят,

² Отбегались. Из Москвы в Иваново ходит скоростной поезд «Ласточка», но иным путём. А внутреннее железнодорожное сообщение провинций печально затишает.

от «баллы елга», медовая река, то есть. И ещё разные версии есть. Но мы дядьке мешать не будем, пусть врёт. Дама вот ему уже телефонный номер сказала. Он там ещё с датами парочки битв наврал и вообще был неточен, однако сие я воспринимал исключительно для собственного любопытства. В таких делах мешать человеку не след!

Ополье из поезда малозаметно. Состав же поначалу опять движется в сторону Орехово-Зуева, сворачивая влево около станции Бельково. Там леса. А вот за Кольчугино начинаются поля и красотень. Похоже на родную уральскую лесостепь. Холмистое такое всё, но другое. Впрочем, в Ополье тут надо вглядываться: лесопосадки вдоль железной дороги мешают. Хотя после Юрьева-Польского делается совсем красиво. Но пока это рано описывать. Мы туда ещё пешком сгоняем.

А дальше бывает Гаврилов Посад. Это и в самом деле город из другой книжки Солоухина. Из «Чёрных досок». Они тут спиртное искали — отметить полёт Германа Титова:

«Действительно, в те годы в маленьких городах, селах очень часто не бывало ни вина, ни водки. Не может быть, чтобы водки не хватало в государстве. Но местные руководители то там, то тут давали указания не завозить водку в магазины или завозить ее как можно меньше и реже. Мы, как видно, оказались жертвами такого указания и вынуждены были ехать в Гаврилов-Посад.

Поездка оказалась недалекой, но какой-то очень нудной и скучной. Мы попали под обещанный перерыв. Нужно было ждать, когда магазины откроются. Потом оказалось, что ни в одном магазине того, что нам надо, нет. Прошел слух, что в магазин на окраине города привезли «красное». Гавриловопосадцы потянулись туда, и мы поехали тоже. Магазин на окраине почему-то закрыли на обед, когда все остальные открылись. У него был свой распорядок дня. Целый час мы сидели перед магазином, и за это время набралась большая толпа. В толпе обсуждались две проблемы: как летает Герман Титов и какое вино будут продавать после перерыва.

А в первый мой самый визит Гаврилов Посад показался городом не из другой

книжки, но из другого мира. Дело обстояло второго августа, в день ВДВ. В Александрове ребята в синем не безобразничали, но шумели. И в поезде двое таких было. А тут тишина, будто в космосе. Совсем-совсем тихо. И на улицах тихо. От вокзала идёт пара улиц. По наитию выбрал одну из них, уходящую влево. Она вся обычная, но домик один необычный. Там палисадник украшен, помимо цветов и яблони, разными пластмассками. Скажем, скворечник жёлтый и попугай в нём жёлтый сидит. Ненастоящие, конечно.

Шёл, дивился. Кошек смотрел и дома брошенные. Их тут относительно много. Потом возник аккуратный городской парк. В нём были трогательные зверушки, покрашенные серебряной краской, а более никого. Сцена пустая, и между деревьев пусто. Смотрел на сцену, жевал яблоко. Чего-то представлял себе, наверное. Например, клоунов. И пространство кругом такое приятное, неясное. Когда земля после дождика вкусно пахнет, это называют «петрикор». Вроде, для тебя от этого пользы нет, но хорошо же. Для зрительного аналога имени пока не сочинили, но он есть, аналог этот.

Приехали три человека на двух мотоциклах, ещё несколько так пришли. Сели на скамейки, начали выпивать. Но тоже аккуратно, без акцентуации. Спросил дорогу до гостиницы, они сказали, уточнив — до новой или до обычной?

Мне в обычную надо было. Только она необычная. Тут, за речкой Ирмесом, около стадиона есть комбинат. Или текстильная фабрика, я в этом не очень разбираюсь. В любом случае, контора эта нынче почти не работает. А когда-то работала и людей, называя вещи своими именами, вербовала. По всей стране. Вот, скажем, нынешнюю дежурную по общежитию привлекли сюда аж из Башкирии. Почти землячка: с таких расстояний Кунгур и Бирск соседи. И выговор наш, хотя живёт здесь человек пятый десяток лет, с ранней молодости. Давно пенсионерка, частный дом. Всякое бывает. Очень хороший номер мне предоставила. С электрической плиткой и старинным чайником. Телевизор, конечно, был. Страшненький. Говорит, когда

гостиницу вместо общаги сделали, то много из общежитского быта осталось, а многое сотрудники принесли: чего дома не надобно.

Стадион около гостиницы живой. Там много ребят и взрослые в футбол гоняют. По нынешним временам — удивительное зрелище. Такие сооружения должны быть унылыми и мёртвыми. Нам так в газетах пишут. На стадионном празднике жизни я оказался чужим. Ни команд игравших не знал, никого. Запомнился только длинный и седой футболист. Он головой забил красиво. Точно башенный кран в облако кивнул.

В новой гостинице кроме собственно гостиницы есть кафе. Недорогое, вкусное. С музыкой и цветными моргалками. Я оттуда еле вышел и до своей гостиницы плохо шёл. Но до этого смотрел конезавод. Он длинный, красивый, прямоугольный, старинный. Наверху флюгер или просто фигура в виде коняшки. Но лошадей там нет! И запаха даже лошажьего нет! Там ничего нет! И внутрь не пустили. Не конезавод, а шкатулка.

Ещё на центральной площади Гаврилова Посада расположен Очень Большой Дом. Несусветный просто для такого маленького города. Спросил, чего там? Ответили — музей. Хорошо, а раньше чего было? Но об этом спрашивать не стал, решив в город вернуться основательней. С тем и уснул, предвкушая страшное утро.

Но обошлось. Бутылка Хугардена, проданная доброй киоскёршей в неурочный час, спасла. Погулял, около пожарной части обнаружил ещё парочку крашенных скульптур. Вроде, чайки или бакланы, может. Себя тоже бакланом ощущал. Или слепозмейкой. Вот зачем было переться в город, ничего о городе том не узнав? Кроме, может быть, конезавода? Да и тот, получается, брошенный? Глупо.

Опять пошёл к заводу, где лошадки. Нет, закрыто всё! Так и остался в первый мой визит Гаврилов Посад городом-коробочкой. Видно, что интересный, а чем интересен — чужому не понять. К счастью, есть такие места, куда, гуляя по некой местности, не захочешь, но вернёшься. В Ополье Караваево именно такое и Гаврилов Посад тож.

Только это всё позже было, а пока решил машинку ловить в сторону Суздаля и, может быть, Владимира. Тепловоз-то проспал сладко, хмельно. Зато остановился второй же автомобиль. Беленький. Пусть будет «Хонда». Отчего бы ей «Хондой» не быть? Ехала в автомобиле Катя и муж её за рулём. Бородастый, программист. На серьёзный, умный БТР похож. Не автомобиль, а муж Катин на БТР похож. Ребята эти на своей машинке любят кататься в Европу, а теперь, купив в Гавриловом Посаде дом, решили и по России ездить. Собрались вот в Гороховец. Рассказала Екатерина и вот про те голубые строения с правой стороны. Там новый конезавод. Сюда лошадок перевели из бывших конюшен. Правильно, вообще-то: у нас вот тоже все фармпроизводства убирают из капитальных зданий. В модульных конструкциях и вентиляция проще, и вообще чище.

Мы с подобранными меня хорошими людьми Суздаль проехали, болтая. И грустный моногород Камешково проехали, и Ковров даже проехали, выскочив опять-таки на федеральную трассу М7. Я им про авто-стоп рассказывал, они о Португалии большей частью. Катя, точнее, рассказывала, а муж её кивал хорошо. Опомнились уже проезжая Вязники. Я там вышел и задумался: вот зачем так рано сюда приехал?

В противоход

Георгий пытался отправить меня ночевать, опять же, в хостел «Достоевский». У него там знакомые. Хотя в городе Владимире у него повсюду знакомые, для чего это лишний раз пояснять? Не получилось. В тот день я не очень расстроился, а позже, узнав причину, очень расстроился. Оказывается, в «Достоевском» остановились прибывшие на соревнования гимнастки. Сорок две барышни. Представляете, сорок две, и все — гимнастки! Красавицы, спортсменки. Фильм «Кавказская пленница», повторённый вот столько раз. Ладно, чего в жизни не бывает?

Заночевал на вокзале в комнатах отдыха. Они тут хорошие очень: даже в уборной ком-

нате есть бочка с фикусом. И хозяйка комнат, Зинаида Викторовна, престрога. Как-то она нас с Дашей Верясовой не пустила. Хотя мы ночевать собирались пристойно, в разных комнатах. Пьяные вы, сказала хозяйка. Не хозяйка, конечно, она, но администратор. Хотя это ж одно и то же в наших краях. На сей раз мне пройти разрешили, хоть и прочли краткую лекцию. Очевидно, я сейчас трезвее был, чем мы тогда вместе³. Дешёвые, чистенькие комнаты. Самое то — одну ночь коротать. Утром Зинаида Викторовна говорит:

— Мобильник-то не забыли? Будете трезвые, так заходите обязательно.

Трезвым вряд ли буду, но прийти — приду. Автобус в село Чёково отходит в пять пятнадцать. И я не опоздал. Молодец же?

Дорога от Владимира на Юрьев-Польский, наверное, самая опольская из всех крупных дорог Ополя. За речкой Содышка, где психбольница, начинаются безлесые холмы с удивительной геометрией теней. А тут и рассвет ещё. Хорошо очень, вот правда. За Андреевским сворачиваем влево. Тут Небылое. Зачем у обычного, хоть и длинного поселения такое сказочное название — не знаю. Но оно всегда так называлось. Уже при князе Иване III, например. Тогда же тут основали монастырь. Хотелось бы написать: «он до сих пор тут стоит», но получится, опять-таки, лукавство. То есть монастырь на берегу очень красивого пруда, отражающего лес, стоит, но это другой монастырь. Восстановленный. При Солоухине в нём была чайная и разные учреждения.

Напомню: писатель со товарищи оставались в Небылом на три дня. По причине лютого дождя и желая обследовать окрестные поселения. А именно: Кобелиху, где пастухи-рожечники, и Невежино, где рябина. Кобелиха теперь названа Красным Заречьем, и понять её жителей можно. Хотя название деревни происходило не от пса, но от человека с прозвищем Кобель. Впрочем, и это довольно обидно. Скажу честно: в Заречье я не бывал. Но ведь и Солоухин уже рожечников там не обнаружил. Шестьдесят лет спустя их тем более нету. А в Не-

вежино бывал. Питомника знаменитой рябины тоже не сохранилось.

Впрочем, на сегодня план у меня был совсем иной. Хотелось пройти дорогу, Владимиром Алексеевичем проеханную в газике. И важную очень дорогу: от родного его Алепина до Небылого. Только в обратном направлении и сколь возможно — пешком. Это опять же из авторского тщеславия, да. Совсем по-честному надо было стартовать от Небылого, конечно, но когда транспорт везёт в правильную сторону, зачем отказываться? Солоухин ведь не отказывался.

Через одиннадцать километров образовалось село Чёково. Будто нетрезвый вахтёр в телефон отвечает: «Чё? Кого?» Интересное такое село, приземистое. Вроде, не сильно заброшенное. Новые дома есть, и старые отремонтированы. Они тут интересные, старые-то. Многие явно из позапрошлой жизни, дореволюционные. Одно- и двухэтажные, каменные. Даже поплутал немного по селу: уж слишком много из него дорожек идёт. А найдя верный путь, стал радостным. Не от гордости своими навыками туриста, а по эстетической причине.

С начала дороги Владимирскими посёлками миновало ведь уже довольно много времени, отчего в нашей половине Земли сделалась осень. И даже середина октября. Ополье приобрело надлежащую красоту. Матовый иней гасил зелень долгих полей. У нас ведь ничего зеленее озимых нет. Весной травки прячутся, вылезают неторопливо, их листья оттеняют. А теперь, когда вокруг всё жухлое, эти поля сверкают. И самолёты расходятся от Москвы. Воздух такой, будто в этих самолётах иллюминаторы видно. Правда ж: тысячи раз всё это людьми описано, миллионы раз видно, десятки тысяч раз сфотографировано на разные аппараты, а всё равно покрывает светом. Дорога среди этого петляет. Просёлочная вполне. Всё, чего мы и хотели, словом. Можно представить, будто ещё сергеи есенины вокруг на розовых конях скачут. Но тогда чуть перебор будет. Хотя Рязань тут сравнительно недалеко.

³ Комнаты отдыха закрылись. Даша рада, ибо говорит, что были мы отнюдь не пьяными, приличными даже.

Километров пять, до Чувашихи, дорожка идёт, чуть поворачивая, по совершенно плоскому месту. Можно топать, гордясь Ополем. Например, в Тверской области или в Псковской, вдоль трассы «Балтия» и в стороны от неё так бы гордиться не получилось. В тех краях поля уже не только репейником заросли, а даже берёзками. В южной Тульской области, где земли черны, тоже многие уголья одичали. У нас всё-таки иной регион. Тут вот озимые сплошь, дальше пахоты. Ранним утром вдоль дороги на Юрьев-Польский видел несколько модульных конструкций, напоминающих советские пластмассовые кубики. В тех конструкциях получается молоко. Иногда — говядина. Иду горжусь. Никакой, впрочем, пользы Ополю сроду не принеся. Но это мы можем, это мы даже любим — гордиться за просто так.

У Чувашихи просёлок падает вниз. Коротко, довольно круто. Это начинается долина речки Колокши. Саму речушку отсюда не видно. Она длинная, больше сотни километров, но узенькая — метров десять. То есть по карте узенькая, а пешком не перепрыгнешь. Лезть в неё, по октябрю тем более, не хотелось. Дорога тянется вдоль речки, то приближаясь почти в упор, то обратно уходя через камыши к разнообразному склону. Этот склон тоже вполне изобихожженный, а сама долина поросла камышом, осокою и прочим водяным растением. Тоже красиво. Иду, люблю. Долго так любовался, а потом, глянув под ноги, любоваться раздумал.

Вся грунтовка была утоптана острыми копытцами. Не коровьими совсем. Я, конечно, житель городской, но кабанчиковые следы от прочих различу. Тревожненько сделалось. Достал ножик из рюкзака, в карман переложил. Но это так, для самоуспокоения. Кабану такой нож вместо укола витаминки, наверное. Кабаны в приключенческих книгах детства обитали непременно в плавнях. Вот они — плавни самые настоящие. Плавнее не бывает.

А дорога всё идёт, идёт вдоль берега. То есть где она совсем вдоль, там нестрашно: бросится свинья, так в Колокшу прыгну. Тоже не сахар, конечно, но живой буду. Когда же просёлок убегает от реки, совсем боюсь:

ни деревца рядом, ничего. И следов меньше не становится, только больше. Деревню Чувашиху почти не видно, на противном берегу какие-то поселения есть, но далеко. А ещё дальше за ними иногда сверкают бортами фуры на дороге Ставрово — Кольчугино. До неё километров восемь, и мне, собственно, туда, но восемь — это строго по линейке. Так лучик света движется. Но он и проскакивает это расстояние за сотысячные доли секунды. Хорошо, наверное, быть лучиком. Только не разглядишь ничего при такой скорости.

Дорога, наконец, бесповоротно двинулась к речке. Я обрадовался, конечно. Но опять забоялся. Видимо, не могу без этого. Просто Яндекс.Карты в телефоне показывали неопределённое: будто и есть переправа, а будто дорога кончается сразу за ней, в пустоте. Но всё хорошо обошлось. Сперва показалась толстенная, с кабана толщиной ива, наклонившаяся через реку — допрыгнуть можно. А потом и прыгать не пришлось. Тут, где Колокша, бурля, достигает совсем уж крохотных размеров, её загнали в трубу. Перед трубой она сильно ругается, а за трубой успокаивается. Там омут. Хотя, может, и не ругается, а только вид делает. Это ж привычная к таким делам река. Сто лет тому были на ней десятки мельниц. Каждая тоже с буруном и омутом.

За Колокшею опять поля. Только их уже недалеко видать — дорога-то в гору. Совсем наверху деревня Мещёра, там ворочается автокран. Наверное, опять какому-нибудь жителю Москвы дачу строит. Это хорошо. Справа другая деревня, Чаганово. Она потише, с индюками и колодцами. Но автомобили тоже с номерами Московской области. Вернее, так: «Рено Логаны» и всякие «Дэу» наши, тридцать третьи, владимирские, а два большущих джипа «Шевроле» из столицы. Домики сообразны автомобилям. «Шевроле» в очень небедном дворе стоят. И вкус хозяина приметен. Не иронизирую: в самом деле хорошая усадьба — от трёхэтажного особняка, убранного подалее от дороги, до палисадника, где явно приложен труд существенного дизайнера.

Церковь только на окраине Чаганова никакая совсем. В Чёково, где я путь начал, храм без признаков жизни, и тут вот тоже. Но лад-

но, бывает. Это ведь, говорят, когда село начинали, церковь ставили первой или второй постройкой. А восстанавливаться может всё по-разному. Дело хозяйское.

В конце Чаганова надо своевременно повернуть влево и топать к селу, непронизимо именуемому Ельтесуново. Недалеко, в принципе. Километра три. Так мне карта сказала. Только мне другого карта не сказала: дорога будет вверх и вверх. Этот, западный, край долины речки Колокша — одновременно ещё и восточный край Московской возвышенности. Лучше б, конечно, сначала в гору, затем наоборот, но географии не прикажешь. Тут я опять стал завидовать электромагнитному явлению. На сей раз не лучику, а линии электропередач. Идёт себе такая напрямую от Владимира неизвестно куда, и хорошо ей.

Но чего делать, раз ты не ЛЭП? Будем пользоваться, опять-таки, методом Владимира Солоухина из книжки «Капля росы»:

«Дорога разделена тобой на участки, вроде как на этапы. Дойти бы до большой ветлы, стоящей в поле, сразу бы подвинулось дело, можно бы и отдохнуть. Но дерево, увиденное издали, почти не подвигается навстречу, а когда в конце концов достигнешь его, пространство отступает от тебя вдаль, до кучинских кустиков, и надо опять преодолевать его, чтобы достигнуть этой новой цели, которая вовсе и не цель, а всего лишь очередная веха пути».

Только ориентировался я не на вёты, а на яблони. Рябины здесь тоже были: Невежино-то, где их обихаживали столетиями, рядом. Выродившиеся уже, конечно, малорослые. Хотя и вкусные после ранних заморозков. Но яблоки вкуснее. Мелкие и сладкие. А ещё земля тут оказалась интересной. Будто и в самом деле Ополье начинается сразу и вдруг. Слева от дороги чернозём чернозёмный, а справа — серенькое поле, привычное. Хотя, скорее всего, его пахали просто раньше, оно и высохло.

Ближе к Ельтесуново показался пруд с рыбаками. Я обрадовался не хуже Робин-зона. Хотя всего-то и не видел человека километров пятнадцать — от Чёково. Привыкли мы к толкучке.

Затем цивилизации сделалось больше. От этого самого Ельтесуново уже шёл не просёлочек, а плохонькая дорога из бетонных плит. Совсем плохонькая: жигулёнок, оборудованный водителем-парнишкой, ту дорогу полем объезжал. Ещё дальше комбайн собирал остатки кукурузы, а трактора её увозили. Ненювые все — и легковушка, и комбайн, и трактора. Только водитель новенький. Так и он скоро ненювенький будет, по себе знаю. И да: есть у цивилизации, даже и плоховатой, минус. Она пешим ногам тяжела. Идя просёлками, совсем не уставал, а на бетонке почти сразу устал. Ступни загудели. Бум-бум-бум по плитам.

Сделав ещё один поворот, бетонка влилась в совсем уже приличную, асфальтированную дорогу. По ней даже машинки бегали. Первая же мне и остановилась, едва руку поднял. Зелёные «Жигули» четвёрка. Толстый шофёр, однако, ворчал:

— Давай быстрее. У меня нога после инсульта отекает, если не шевелить. Мне всё равно до Шуново только.

— Так и мне до Шуново.

— А чего пешком не идёшь, близко же?

— Ну, так вот сегодня с Небылого, устал уже.

— С Небылого? Да ладно? А через реку как?

Рассказал про мостик, сделанный из трубы. Водитель удивлялся, вспоминая. Говорил, дескать, двадцать лет назад он там ездил разок на КАМАЗе, так пришлось напролом, вода текла через порожки. Неудивительно. Солоухин этот же путь, пройденный на «козлике», вспоминал так:

«Водитель, казалось, рожден был для таких дорог. Ему, видимо, нравилось даже круто поворачивать баранку, когда автомобиль становился поперек дороги и юзом начинал сползать вниз под крутой уклон или когда на критической точке подъема нужно было свернуть на сторону, наискось, чтобы вскарабкаться на осклизлый пригорок. Мотор урчал, работали оба сцепления, потоки грязи выбрасывались из-под колес и колотили по тенту.

...

Автомобиль проскакивал какие-то деревни, села, перелески. Все это были мои голубые холмы, запеленатые водяной пылью».

Хотя, скорее всего, ехали они чуть севернее. Газика художник Серёга им тормознул в Корневе, оттуда, вероятно, даже шестьдесят лет назад была более или менее проезжая дорога до Авдотьино. А там можно выскочить на Красное Заречье, бывшую Кобелиху. У них мостик есть и, наверное, тогда был. Всё-таки газик даже и с очень крутым водителем Колокшу б мог и не переплыть. Не КАМАЗ же.

Хотя совсем уж частные частности мало важны. Времена меняются и дороги тоже. Мне вот так быстрее оказалось. Разницы особой нет, честно говоря: от Корнева до, например, Ельтесунова меньше двух километров напрямую. Да и долина Колокши та же самая.

Долгий день невидимых кабанов

На обратном пути от Алепино к Шуново попутной техники опять не случилось. А ноги мои уже были всерьёз недовольны. Я их уговаривал тихонько, неслышным шёпотом. Потерпите, говорил. Вот сейчас от этого Шуново ещё три километра, и будет вам серьёзная трасса с автомобилями. Там вас подберут, до Кольчугина свезут, вымоют с мылом, в кроватку уложат. Они верили, шли, но, думаю, поругивались.

Дорогу на Кольчугино выстроили при Солюхино. А то дивно было: от областного Владимира до промышленного райцентра Кольчугино ездили через Москву! Вместо семидесяти километров приходилось одолевать четыреста. И с пересадками. Медитативное дело, конечно, но индустриализация требовала иного. Хотя дорогу строили вполне традиционно. Тут нам опять «Капля росы» пригодится:

«Впрочем, я не совсем прав, говоря, что к этому проселку вовсе не притрагивалась рука человека. Наоборот, сколько я себя помню, всё потихонечку строили там шоссе от Ставрова к Кольчугину. Намеченная дорога проходила через Черкутино, в четырех километрах от нашего села. Но все время строительство это находилось на одном и том же месте.

Первоначальной энергии хватило на то, чтобы выкопать канавы по сторонам обрабатываемой дороги. Весной канавы эти наполнялись водой, и вода, сначала быстро пересыхавшая, заставалась год от году все дольше и дольше. Откуда ни возьмись, появился тут рогоз — растение болотное. Черные бархатные шишки его красиво разнообразили полевой пейзаж. На самом полотне, то есть между двумя канавами, постоянно сидели в том или ином месте несколько рабочих с молотком в руках, а около них лежала куча камней. Они укладывали камни один к одному рядочком и успевали продвинуться за лето, может быть, даже на километр. Потом наступала зима.

Весной вода размывала мощный участок дороги, вымывая из-под камней грунт, надо было чинить, латать, подновлять. Пока несколько лет возились с одним участком дороги, предыдущий, считавшийся законченным, приходил в совершенную негодность».

А теперь ничего так дорога. Движения не меньше, чем на городской улице. Бегают туда-сюда машинки. Они уже и на жуков не сильно похожи, можно кабины разглядеть. Значит, до трассы не больше километра. Это я опять себя так уговаривал и ноги свои. Но повезло.

Получился мне вновь самостоп. Говорю ж: бывает. Только не на федеральных трассах. Хорошая и мягкая изнутри «Тойота» серого цвета. За рулём человек, похожий на батюшку-попа. Таковым и оказавшийся. Вот кто скажет, будто у сельских попов не должно быть дорогих автомашин, так пускай тот сначала прогуляется в неровной местности часов семь. Посмотрим тогда: УАЗик он захочет или нормальный автомобиль? А дальше было мне совсем невероятное. Батюшка этот ехал по церковным и дружеским делам в Караваево! Да-да, в то самое Караваево, где мы с Олей на колокольню лазали. И Веничка Ерофеев куда из Мышлино до магазина ходил. А ещё в Караваево много лет назад происходили ярмарки. На эти ярмарки маленького Володю Солюхина папа возил:

«Дорога до Караваева, если не отдельными штрихами, то цельным впечатлением, смотрится ярче и протяженнее.

Двадцать верст на скрипучей телеге, влекомой неторопливым Голубчиком (понукаемым еще более неторопливым Алексеем Алексеевичем — моим отцом), длились не меньше пяти часов... В обобщенном виде — синие холмы, беленькие колоколенки там и сям, темные острова перелесков, желтые плоскости опустевших уже полей и горизонт, горизонт со всех сторон — круглая, немного вогнутая чаша земного приволяя».

Ну, да. Где-то так. Горизонт только не со всех сторон: перелесков, наверное, больше стало. Можно, конечно, было и подглядеть в дороге интересных мелочей, но, во-первых, машина всё ж не телега, она вместо пяти часов до Караваево идёт минут сорок, а во-вторых, мы разговорились хорошо. Я обычно в своём писательстве не признаюсь, ибо стыдно в мои-то годы и в наше время, а тут довольно быстро рассказал. Видимо, хороший батюшка меня подвозил. Впрочем, и он тоже не чужд оказался. Вздыхает:

— Вот хочу тоже книгу писать. Сяду, а писать-то нечего, всё написано уже.

— Да ладно, говорю. Вот Фудель же писал. О жизни своей писал, о понимании. О разном писал.

— У Фуделя биография интересная была.

Собираюсь возразить про «неинтересных биографий не бывает», а потом про отца Александра из нашего Иванова рассказать, но батюшка сам важное говорит:

— Книжки-то все ведь об одном и том же: о страстях. Или о добродетелях. Остальное частности.

Вот тут у меня аргументы кончились. Но мы ещё долго о детях болтали и о разном. О некоем знакомце болтали, тоже батюшке. Я того человека знал по разным сайтам, где стихи, а священник, меня в машину подбравший, лично знал. Интересно пишет, только показывает стихи редко. Но книжку издал вот.

А потом я покаялся, дескать, вот шёл сегодня, кабаньи следы видел, боялся. Пообещал себе: доберусь в цивилизацию — сразу в церковь пойду, свечку поставлю. Однако теперь вот думаю первым делом отдохнуть, а в церковь назавтра идти. Батюшка утешил:

— Так ты переживаешь, что Бога обманул? Ну, от этого-то не переживай: Бог на дураков не сердится.

А там и Караваево приблизились.

Пойдём дорогу на Кольчугино искать, с батюшкой вежливо попрощавшись. Я-то его имя знаю, и коллеги его, поэта, имя знают. Но тут пока не скажу: вдруг да решатся они к публикациям, тогда мы лучше критики в журнал про них напишем.

Серые квадратики под горкой оказались фермой, по счастью, пустой. Может, коровок повели травкой перед зимой покормиться, может, они вообще в мясокомбинат поехали. Но малое время назад они здесь точно были. Ибо пруд оказался не совсем прудом, но отстойником для говяжьего навоза. Обоняние пострадало и левый кроссовок слегка. С дорожкой вправо тоже не всё получилось. Её распахали. Ладно, чего делать? Нельзя направо — пойдём влево. Дальше, конечно, но ладно. Хотя это утром было ладно, а теперь неладно. Кроме ступней, ныли теперь уже и коленные суставы. Худеть надо, Андрюша. Или тренироваться в ходьбе. Или худеть и тренироваться.

Но иду тихонько, порой с интересных ракурсов колокольню фотографирую, грачей жирненьких и просто землю. Она тут не совсем опольская, здесь граница. Разная тут земля: рыжая, серая, коричневая. И амбре от коровских удобрений. Ладно, чего делать? Всё лучше, чем брошенные поля глядеть. Дошёл к перелеску. Яндекс.Карты мне твёрдо сказали: отсюда прямая дорога на Слугино. Некоторое подобие перекрёстка вправду было. И чайник брошенный, закопченный валялся около. Только дорога скорее напоминала лесовозный путь. Да и старый к тому ж, забытый. Но телефон же больше знает, чем я вижу! Сказал дорога, значит, дорога. Иду, а дорога всё уже. За вырубкой же и вовсе не дорогой стала, но тропкою. Кусты над ней низко-низко. Пригибаюсь, иду так. С краешку зрения вижу гриб. Шляпка у него с тарелку. И видно без прикосновений: очень крепкий гриб. Упругий — чисто дельфин.

А под носом моим — следы. Такие же, как утром видел. Кабанячьи то есть. Но там поле было, здесь же — вовсе заросли. Ситуа-

ция называется «он меня видит, а я его нет». То есть буквально сейчас смотрит на меня равномерными глазками, думает. Мозг у него достаточно просто устроен: кинуться или нет. Я ещё шагов десять сделал и тоже задумался. Хорошо б, конечно, погеройствовать, пройдя лес кабаньей тропой. А вдруг у папы-свина другие планы? Но погеройствовать ведь тоже хорошо. Хвастаться потом можно, в книжку написать. И тут накатило. Не запах, понятное дело, а некое чувство без имени и номера. Жуть. Абсолютная совсем жуть. Не умею эмоции описывать, так и не буду. Скажу только: сделалось очень тревожно. Бессмысленный ножик опять из кармана достав, начал пятиться. Отступая, бормочу шёпотом:

— Кабанчик, кабанчик. Всё хорошо. Твой лес, твой. Мне его не надо. А ножик для гриба достал. Срежу гриб и уйду.

Но, конечно, мимо гриба радостно прошёл. Так же, пятясь. Затем развернулся, быстрее двинулся. Всё быстрее и быстрее. А лес тут мысок образует, выступающий в сторону Караваева. Думаю, ну всё. Хватит, натерпелись. Прихожу туда, и хоть через навозное поле, хоть ещё каким макарон — в деревню. Поймут, простят, довезут. Можно, конечно, опять незаменимую Олю вызвонить, но зачем ей начальник с таким ароматом? Копроном ещё, глядишь, обзывается станет.

Обошёл мысок слабодушно, а тут сразу дорога, просёлок. Получается, от самого Караваева неверно стартовал. А вот зачем про Солоухиных смеялся, навигатором гордился? И да: возможно, никакой кабан на меня не смотрел. Это я его в голове сочинил. Или смотрел. Теперь-то и не узнаешь.

Просёлочек оказался хорошим, будто из старых времён. И вполне живой. Сперва дядька на мопеде догнал и мимо проехал. Моего возраста дядька и мопед из моего детства. Живут такие бережливые люди, умеют хорошо стареть вместе с вещами. А встреча была техника новой эпохи. Два квадроцикла с поддатými людьми. Переваливаются, такие, навряд ли медвежьей кавалерии, руками машут.

Вокруг было живописно, но грустно. Солнышко начало чуть садиться. Светит, аккуратное, на очень юный березняк с прежёлтой

лиственной. От березняка, собственно, и вся грусть. Его тут быть не должно. Это поле им так заросло. Порадовался утром, будто в наших краях настолько брошенных полей нет, так на тебе. Впрочем, грусть чуть принуждённая, конечно. Чего мне за дело до этих полей? Может, они лишними были. Хватает же, вроде, еды и прочего. Лучше о себе буду грустить, о ногах печальных.

Грущу, иду. Миновал деревню Поздняково, обведенную, но с милым колодцем. Далее поворот чуть влево, затем направо, и тут настала красота. Вроде бы, за этот день от пейзажей можно было устать, но только вот поднимешься в небольшую горку, а перед тобой — Ополье. Перелески разом заканчиваются, справа далеко-далеко поля и село Троица. Это куда Солоухиных в итоге ребята довезли. Хотел опять собою против них гордиться: я пешком дошёл, а они на гужевом транспорте, но, вспомнив недавние блуждания, язык немножко укротил. Кстати, в Троице злостное Владимир Алексеевич с Розой Лаврентьевной не закончились. Только они это злостными не считали. Солоухин коротко так пишет:

«Грузовик подобрал нас через три часа, то есть к вечеру».

Теперь иначе, к счастью. И правильно. Не всему же портиться, должно в чём-то и лучше стать.

А природа вокруг не сильно переменилась, вроде. Чего в ней описывать? Говорю ж: красиво вокруг. Очень даже красиво. Особенно когда закат. А потом среди этой обыкновенной красоты возникает необыкновенная. Это уже было в селе Кудрявцево. Там с левой стороны дороги большущий лагерь детского отдыха с побитой церковью внутри и обширными прудами. Мелкими, наверное, вроде лягушатников. А иначе ведь потонет отдыхающий школьник. Церковь не очень обыкновенная. Она с аркой внизу. Точно сама себе и ворота, и храм надвратный. Но осматривать её не пошёл, хотя и стыдно было за нелюбопытство. Устал всё ж. Так вот: слева это всё, а справа обычные дома. Может, не совсем обычные по текущим временам — с резьбой, деревянные, неодинаковые — но глаз уже

привык к таким за минувшее путешествие. А во дворе одного из домов клён. Солоухин опять прав: чуть северней, буквально в пяти километрах отсюда, где лесисто, деревьев около домов не увидишь. Зачем они, когда лес вокруг? Тут же, в холмистых полях, дома украшают именно деревьями. Но перед всеми избами обычное дерево, а этот клён — всем клёнам клён. Он выше соседствующей церкви вдвое, думаю. И разлапистый. По за-кату и осени, его, наверное, с пожаром срав-нить надо. Но это мельница целая должна гореть или ещё нечто столь масштабное. Горисполком, скажем. Не знаю, отчего такое слово из минувших времён припомнилось. Да и не похоже на пожар, честно говоря. Ско-рее уж, фейерверк. Только не бабахает — ше-лестит. А вокруг — рябины.

Заряда красоты хватило ещё километра на два. Тут начинался посёлок Вишнёвый. И сумерки тоже начинались. От Вишнёвого до всё той же трассы в Кольчугино, где мы се-годня уже бывали, километров пять. А сил-то нету совсем, честно говоря. На лавочке около двухэтажки сидели две совершенно класси-ческие, из любого времени бабули и весёлый дед. Спрашиваю:

— Здравствуйте. А на Кольчугино тут что-то хо-дит ещё?

Дед не торопясь достаёт мобильник, очень новый и блестящий по контрасту с пиджаком, смотрит в экран некоторое время, отвечает:

— Да, сейчас вот последний должен быть. Прямо сейчас вот. С центру.

— А далеко у вас до центру?

— Ну, метров триста. Беги, успеешь, может.

Вопрос про откуда берутся силы в таких случаях ещё дурней вопроса «для чего коты утят гоняют?» Так надо, значит. Но да: бежал скорей, наверное, чем в школе. С рюкзаком ведь ещё. Успел.

Первым делом глянул в программу с кра-сивым названием Pedometr. Верить ей, так прошёл я сегодня 43 км 230 метров. Больше марафона даже. А частью ещё и по сложной местности. Опять начал себе собою хвастать-ся. Но вторым делом задумался: вдруг мест в гостинице не будет? Спую ведь тогда ма-тушку-репку.

Город-самовар

Сергея рассказал, между прочим, что в Кольчугине наконец-то разразилась гроза с ливнями. Она полила жаждущие колхозные поля и между делом разбила и сожгла городскую прокуратуру.

В. Солоухин. Владимирские просёлки

Места в гостинице были. Они тут всегда есть. В Кольчугино вообще много гостиниц. Я поехал в «Дружбу». Она с прежних времён осталась, когда тут было очень хорошо. Соло-ухин гостил в Кольчугине четыре дня и в го-стиницу не поместился. У тётки жил. Заметим: про тётушку он в повести лишь упомянул! Тоже, значит, для иных книг сэкономил.

Здесь все дни писатель был необычно-венно серьёзен: изучал производства и рас-сказывал о состоянии окружающей среды. Затем, уехав в село Ильинское, о той же сре-де рассказы продолжил. А было чего сказать. В те времена Кольчугино прилично гадило. Рыба в Пекше полностью завершилась, леса чахли. Зато народ из ближних деревень ехал сюда к работе и зарплате. Далее ещё лучше стало. Верней, с работой богаче, а природе хуже. Выбросы, говорят, были изумительные, люди на улицах задыхались, будто те самые голавли, выскочившие из Пекши.

Но да: длилось некоторое процвета-ние. С продукцией Кольчугинских заводов, возведённых, сколь ни удивительно, про-мышленником Кольчугиным, знаком любой, бывавший в поездах. Тут, кроме военных за-казов, подстанники делали. И продолжают. По этим столовым приборам, зачем-то не устаревшим с годами, можно историю Коль-чугина следить. Они когда-то совсем обычные были, затем изукрашались, сделавшись годам к шестидесятым даже прихотливыми, а ныне упростились до неприличия. Хотя выпускают и сувенирные подстанники. Их проводни-цы любят нетрезвым людям продавать. Ино-гда и при альтернативе: наряд вызвать или подстанник купишь? Я обычно покупаю.

После же коммунистов жизнь в городе стала так себе. Природе легче сделалось и дышать оказалось приятней, но город оста-

новился. Можно долго рассказывать, а можно не очень долго: сериал «Чернобыль. Зона отчуждения» снимали частью тут. В здешнем парке отдыха, расположенном с иной от города стороны железнодорожных путей, жило большое колесо обозрения. Затем колесо умерло, но осталось. И вот это мёртвое колесо в фильме изображало город Припять. Ещё чуть позже колесо спилили, а жизнь в городе чуть получшала. По крайней мере, пока я сидел на автостанции, ожидая такси, в сторону завода Электрокабель шли фуры и обратно тоже фуры. И всякий мельхиор можно в фирменном магазине купить. Даже вполне привлекательный. Хотя масштабы производств не те, конечно. С другой стороны, натуре меньше ущерба. В Пекше рыба теперь есть, бобры тоже⁴.

В общем, крах города тут несопоставим с тем, какой произошёл в Александрове или тем более в Юже. Прежде всего, Кольчугино — город рабочий и большей частью советский. Тут даже названия такие: улица 50-летия Октября через улицу Дружбы пересекается с улицей 50-летия СССР. Город не переименовали, оставив ему имя основателя, а улицы обозвали вот так. Из старинных примечательностей в Кольчугине, кажется, только водонапорная башня. Её отчего-то все называют самоваром. Честно слово, видел я самовары. И вокруг башни ходил. Она правда милая и похожа на башенки из далёких отсюда краёв Европы. Но вот на самовар нисколько не похожа. Скорее уж на паровозную трубу. Думаю, приехал в Кольчугинские заводы полтора века назад некий крестьянин. Он самовары видел, а паровозов не видел. Обозвал башню самоваром, так и поехало. Нынче в этой башне спортивный центр с фитнесом, что в целом неплохо. Вокруг же — хрущёвки большей частью. Или чуть более старые дома в несколько этажей. Они всегда выглядят немного уставшими, отчего дополнительная усталость города заметна не особо. Подле вокзала и ещё в паре районов наблюдал совсем новые многоэтажки, возрастом менее десятилетия.

Вот примерно так: город даже по осени и вечеру оставляет впечатление нестрашное. Летом-то здесь совсем хорошо, пруд на Пекше большой и славный. Можно рыбу ловить или купающихся хватать за ноги, пугая. Но я рыбу ловить и ноги хватать не хотел. И даже гулять не хотел. Я спать хотел. Только сначала — есть. Не зря ведь сорок километров холмами шёл, аппетит копил.

Номер в гостинице оказался с ремонтом даже, а ресторан так себе. Вкусно, только не уютно. Там потолки высоченные и все углы строго прямые. Не ресторан, но операционная. Зато в таких местах легко знакомиться с людьми. Пришла официантка Людмила, принесла вкусенького. Не вкусного-превкусного, конечно, но очень недурного. Мы разговорились. А к финалу ужина и подружился совсем. Говорю:

- Ты сегодня всё?
- Ну, да. Отпрошусь. Клиентов-то нет почти.
- А пойдём, город мне покажешь?
- Ну, пойдём.

Ага. Самое то — осматривать город по октябрю и не самым ранним вечером. Люся меня в кино пыталась зазвать. В «Адамант». Он тут недавно открылся. Да-да, в довольно громадном Коврове кинотеатра теперь нет, а тут — есть. Говорю ж: потихоньку город оживает. Но, конечно, скажи полвека назад кому: «Признаком хорошей жизни в городе на пятьдесят тысяч человек твои дети будут считать наличие кинотеатра», так слышавший это смеялся б. Тогда на космоланы надеялись.

Словом, город мы осматривали в основном по забегаловкам. Хотя и приличные кафе встречались. В одном, двухэтажном, где командовали нерусские люди, а отдыхали разные, мне задали вопрос:

— Ты чеченец что ли? Ты почему, когда не танцуешь, в кепке сидишь и на Люсю смотришь?

Интересный, думаю, город. У них чеченцы — кто на Люсей смотрят. Более длинных мыслей уже не составлялось. Люда интерес-

⁴ Сейчас кабельный завод хорошо работает, мельхиоровые штучки снова делают, и в Бавленах есть большой-большой завод с насосами. Но колесо обозрения снесли.

но танцевала. Она тёмненькая, кудрявая. Хотя о причёсках барышень говорить смешно. Они их меняют быстрее, чем одуванчики крутятся летом. А тут Людмила и падать начала. Видать, тоже уставшей была. Работа-то весь день ходячая. Домой её отвозили — помню, обратно ехали — уже не очень помню. Таксист Серёжа оставил мне визитку. Всё собираюсь позвонить, узнать, чего было. Но стесняюсь. Хотя много ли интересного бывает в таких случаях? То есть самому кажется, будто всё интересно, а при взгляде снаружи — так себе. Опять-таки, Солоухин про это рассказал. Например, и в книжке про смех за левым плечом:

«В праздники, в особенности в гостях, Алексей Алексеевич мог напиться и допьяна. Вероятно, это происходило в праздники и дома, но не запомнилось, потому что не так заметно. Что ж дома? Напился допьяна, лег и уснул. Из гостей же нужно ехать на Голубчике домой, и тут, как бы мал я ни был, становилось как-то очень уж неуютно: доедем ли, не опрокинемся ли, найдет ли Голубчик дорогу сам. Ну и мать, наверное, ругала отца в таких случаях, потому-то пьяные праздники в гостях и запомнились мне больше, чем праздники дома. Когда же на другой день мать все еще продолжала «пилить» Алексея Алексеевича (Леню) за вчерашнее, он, дабы свести все теперь уж на шутку, неизменно произносил:

— Без чудес не прославишься».

Но сильно худого в Кольчугине нам не случилось. И слава Богу.

Утро оказалось неожиданно добрым. И то сказать: выпили-то немножко. С устатку укачало. Хотел в церковь идти, свечку за вчерашнее спасение от невидимых кабанов ставить. Но опять застеснялся. Похмельный всё ж.

А на вокзале ждал меня сюрприз. За прошедшие месяцы отменились почти все поезда из Александрова в Иваново. Те самые, с незлыми тётками. Оставили единственный состав, ближе к вечеру. Грустно. Нет, понять железнодорожников можно: задорого мало кто поедет, дёшево — себе в убыток. Конкуренция с личным транспортом, опять же. Но всё равно грустно. Ещё один кусочек эпохи ушёл. Сажу на бордюре, ногой качаю. Мило так. День ясный. Парк на горке, хоть и без колеса обо-

зрения, но славный. Он ещё дичее стал без колеса-то. И парнишка мелкий, лет десяти, под железнодорожную платформу лезет. Не хорошо, вроде, и опасно, зато будто из детства картинка, вечная. Никаких тебе знаков победившей нас иной цивилизации.

С автостанции, а она с вокзалом рядышком, транспорт до Юрьева-Польского бегают часто. Проходящий и всякий. Плохой и хороший. Проходящие Неопланы и местные развалюшки, долго отработавшие на трассах Южной Кореи. Нам развалюшка досталась. Но это ничего. Ехать-то тридцать километров. Рядом села мама с девочкой. Мама обычная, блондинка и немного усталая, а девочка пухленькая, в шапке с бомбошкой. Говорю:

— Садитесь к окну?

— Да не, нам скоро выходить.

«Скоро» это оказалось в Палазино, около самого Юрьева-Польского. Впрочем, младшая барышня оказалась довольно милой. Сапожки ей мама сняла, оставив в полосатых гольфах. Она и прыгала в них — то к окошку, то к мамаше. Болтали. Весело ехали. А потом загапризничала обычное:

— Ма-ама! Ну, когда-а мы приедем?

Мирно так, но однообразно. Дабы ребёнка отвлечь, тычу в окно пальцем и глаза туда же тарашу, где лес:

— Ритка, смотри! Кенгуру! Стадо целое! Вон-вон-вон там!

Тут пригорок небольшой, автобус чуть затормозил на его верхушке. У меня громко получилось. Весь автобус обернулся, кто в другом ряду сидел, аж привстали. Вера в чудеса — дивная сила. Мне потом стыдно было, когда Рита с мамой вышли, так я глаза от всех прятал, хохоча не сильно вслух.

Гаврилов Посад. Пётр Владиславович

На краешке Ополя самые опольские земли. Чёрные-пречёрные. И лоснятся, будто их маслом намазали. Михаил Бару непременно открыл бы маслопровод из Вологды сюда. Но правда: землю такой черноты из неюжных краёв я видел только в Мордовии.

Остался тут и один из последних участков Стромынки. Вот так срифмовалось: был в начале книжки Сибирский тракт, а в финале — Стромынка. Две поочерёдно главные дороги государства. Стромынка, опять скажем, раньше была. Почти напротив не по месту стоящего монументика всё той же Липицкой битвы в поле есть железный мост над ручьём. Его не выковыривают, аккуратно объезжая на пахоте. Он и остался от Стромынки. А сам путь давно запахали. Хотя глупости всё это. Речки и те русла меняют. Дороги — тем более. Их же люди гоняют туда-сюда. Федералка на Казань идёт в километре от Сибирского тракта, порой и вовсе пересекая его остатки. От нынешней дорожки с жутковатым асфальтом на Гаврилов Посад до Стромынки — вовсе метров сто.

В Посаде нас, конечно, опять встретил Пётр Размазин. В этот раз собаки Амкара с нами не было, так он, Пётр, футбольными знаниями не хвастал. Амкар же в честь пермского футбольного клуба назван. Только не назван, а названа. Мы её подобрали, когда она была длиною с домашнюю черепашку. А худобой с ящерицу. Потом оказалась девочкой, но переименовывать не будешь ведь? Команда Амкар порою тож чудесит, их же не перекрещивают⁵.

Состав этой чудесающей команды Пётр, к моему удивлению, при первой встрече взял и назвал. И о многих игроках сказал умное. Он долго работал спортивным журналистом на Дальнем Востоке. Сперва там и родился, конечно. Дальше в Москву уехал, ныне тут руководит музеем. Он нас туда опять повёл — хвастаться, чего нового в истории Гаврилова Посада случилось. Самые интересные события всегда ж происходят лет двести назад.

Хотя и сейчас происходят. Вот макет Гаврилова Посада стал ещё лучше и похожее. Макеты так-то скучноватые в музеях, но тут — преогромный, без дурацкого стекла сверху и с городом совсем одинаковый. Вплоть до расцветок крыш. Я на макет смотрю, хвалю, а сам хихикаю. Ибо вспоминаю наш гешефт.

Решили мы с Петром Владиславовичем сделать по ранней осени доброе дело. Заод-

но прославиться и чуть денежек иметь. Стали устраивать экскурсию. Я обещал контингент, а он — виды и сопровождение. День хорошо подгадали. Семнадцатого сентября, в третье воскресенье месяца, тут разразился Праздник Картошки. Он уже не первый год бывает. Фактически тот же день города. Вспомним: здесь промышленность с картошки начиналась.

С начального утра вдоль торговых рядов ставят прилавки, ещё столы, ещё прилавки и ещё столы. В одном углу занимаются торговлю сугубо оптовой. А так — чего организму угодно. От изумительно замаринованных грибов до многих видов самогону. Да: в отличие от многих весей и градов, тут на праздники не ограничивают реализацию любимого питья, а напротив, позволяют обычно недозvolенное. И ничего. Все живы.

Сортов варенья ещё больше, нежели самогонов. А наливов больше, чем варений. Солёностей, кроме грибных даже, всё равно не сосчитать: торговля разбита на участки по сельским поселениям, и все хвастаются, отбирая лучшее. Тыквы здоровенные лежат. Но это для украшения, конечно. А сало не для украшения. Хоть и рано его в сентябре-то есть. Зато вкусно. Рулетики из баклажанов и небаклажанов правильной формы: на один кус. Рюмочка самогону — один рулет.

Нерусские люди жарят много шашлыков, готовят плов в прегромадном казане. Русские варят уху. Тоже в уважительной ёмкости. На площади ходит пожарный или из МЧСник в алом костюме огнетушителя. С ним фотографируются коллеги и просто люди. Две барышни гуляют в масках Гая Фокса. С ними никто не фотографируется.

Сцена, конечно, стоит. Там дети песенки поют, а взрослые друг друга награждают за работу деньгами и разным. Иногда девочки выходят говорить смешное в костюмах картошек, но собою походят на медвежат. Много цветов. Хоть на продажу, хоть просто так. Словом, всё это напоминает большую ежегодную сельскую ярмарку. Тем более это и есть большая ежегодная сельская ярмарка.

⁵ Пермский футбольный клуб «Амкар» закрыли, потом снова открыли, сослав в третью лигу. Видимо, так дешевле.

Ну, вот. К этой ярмарке мы и подгадали наш бизнес. На работе, то есть на Генериуме, люди трудятся любопытные. Периодически мы, нанимая автобус с экскурсоводом, едем по соседним красотам. Можно ездить сепаратно, личным транспортом, только вместе интересней. За рулём ведь не примешь. Сей раз автобус был полон. Детей много. Лошадок правильного размера всем интересно увидеть.

По дороге я много рассказывал и даже врал. Говорил, например, о снимавшемся в Юрьеве-Польском фильме про золотого телёнка, а потом рассказывал, будто Гаврилов Посад в этой книжке тоже участвовал. Это не совсем враньё, конечно. Журнал «Бузотёр» в 1927 году напечатал фельетон с фразой:

«Во время, знаете, спектакля «Синеблужников» в буфете Гаврилово-Посадского театра было вывешено на стене объявление: «Пиво отпускается только членам профсоюзов».

Всё б ничего, только театра в ГавПосаде не было. Кинотеатр был, а театра не было. Но ладно. Раз история прижилась, то она уже и правда.

В Юрьев мы решили заехать на обратном пути, а сперва — на ярмарку. И с ходу никто не расстроился. Мы с Ромой подходим, где самогон:

— Купим?

— Нет, мы вас так угощать будем! Только администрация пройдёт, их накормим.

Будто администрация тут самая трезвая и голодная. Но в этом тоже есть свой шарм. Мы ведь и такое любим. Раньше на ярмарках городской голова первым ходил. Самогоном нас действительно угостили, наливки мы сами купили, шашлыков и закусок тоже. Сидим, любимся. Сотрудники наши, кандидаты и доктора наук, жизнерадостно присоединяются к веселью, детей катают на тележках, куда впряжены самые-самые превладимирские тяжеловозы. Всё пока идёт по плану.

Тут мне был первый казус: дабы не рдовался сильно. Сколоченные к празднику столы были накрыты претонкой клеёнкой. А кругом ветерок средней ласковости. Пока стакан с медовухой был полным, он клеёнку

прижимал навроде пресс-папье. А по мере убывания легчал. Таковы у нас законы физики. Облегчав на две трети, стакан перестал удерживать порывы ветра. И опрокинулся на меня. Я поначалу лишь о самом дорогом подумал — о брюках. Добёг малозаметными тропинками к музею, спросил утюга. И брюки Петра спросил. Надо мной Ольга и другие сотрудники хихикали. Пётр-то в оных брюках лазают на чердак. Или в подвал, где канализация лопаётся. Такая вот работа у директора музея. Ладно. Постирал свои штаны, глажу их утюжком. Тут наши подходят. Тоже глумятся. Говорят, дескать, ты здесь на полставочки прачкой устроился, да? И разное опять говорят. Но всё пока хорошо. Это потом нехорошо оказалось: кроме брюк, я ещё фотоаппарат себе залил. Он теперь только вполглаза смотрит. Но пока ещё да, хорошо было.

Дальше — ещё лучше. Президент, то есть Борис Алексеевич Волчёнков, нас музеем провёл, всякое рассказал. Затем стал гулять экскурсию по ярмарочному Гаврилову Посаду. О домиках опять говорил. И привёл на Ильинское Подворье Свято-Шартомского монастыря. Там хозяйством заведует иеродиакон Герасим, а по духовности — отец Нил. Зовут его так: отец Нил. Красивое имя, речное. Может, в какой-нибудь христианской обители Египта живёт матушка Волга. Чего в жизни не бывает?

Но это я зря так ёрничаю. Подворье восстанавливают очень быстро и качественно. Для меня это вообще серьёзная загадка: разница в скоростях реставрации церквей. Понятно, денёжки важны, но и кроме них, видать, многое надо.

Отец Нил благословил всей экскурсии слазать на колокольню и даже позвонить. Какофонию устроить, по нашим-то умениям. Наверное, мы б весь Посад испугали в обычный день, однако за ярмаркою не было слышно. Батюшка тут умный, с виду — благообразный. Оттого наши, кто православные — их много довольно — к нему беседовать пришли, а потом в церкви краткую молитву делали.

Да: у подворья ещё сайт есть. Там или батюшка, или дьякон то про общинную жизнь пишут, то про разное. Например, про такое:

«В трапезной Ильинского подворья в г. Гаврилов Посад прошло собрание духовенства благочиния. Священнослужители прослушали лекцию о противопожарной безопасности в храме, прочитанную внештатным преподавателем МЧС Соколовым В.В. Лекция по существу была беседой между преподавателем и слушателями и вызвала большой интерес у последних. Священники заинтересованно задавали вопросы и почерпнули много полезной информации. Для всех стало очевидно, что знания о технике безопасности необходимы каждому, особенно настоятелю храма, который несет большую ответственность за людей на приходе. Кроме ответственности нравственной существует и правовая. Священнику могут предъявить обвинение в том случае, если он не обеспечил своевременной эвакуации людей из места в храме, охваченного пожаром, а также если им не была своевременно вызвана служба МЧС для ликвидации пожара. Если в подобном случае пострадали люди — священник отвечает перед законом. В процессе беседы преподаватель со своей стороны сообщил, что он желает принять Таинство Крещения и готовится к этому в настоящее время, и задавал вопросы богословского характера, которые его волновали. В целом прошедшая беседа прошла очень непосредственно, но содержательно ко взаимной пользе всех присутствующих».

Меня подобные заметочки отчего-то умиротворяют. И стилистически, и по сути. Писатели-концептуалисты этакое специально делали, тщательно. Но выходило так себе. Заподлицо уж очень выходило. Тут же — аутентично. Неспешно всё, с осознанием цели. Вообще, обитая далеко от крупных городов, замечаешь влияние батюшек. Ещё сильнее, впрочем, замечаешь естественный ход природы, но это уж для иных книжек.

Я на колокольню не лазал, в молитве не участвовал. Побеседовал, стараясь показать свой умный вид с батюшкой, и стал гордиться собою. Молодец ведь, и экскурсия у тебя хорошая. Ну, вот дабы не гордился, сделали моему самолюбию щелчок. Хотя я-то лошадок видел, и за экскурсию денежек не платил, а остальные чем виноваты?

Получилось так: уселись все в автобус, довольные. Поехали к новому конезаводу. А нас не пускают! Поехали к старому, красивому, а нас опять не пускают! Ну, ё-ёлки-палки! Пётр Владиславович накануне в администрацию сходил, на подворье сходил. Дескать, приезжают серьёзные гости, много. Их надо уважить. Они хорошее о Гавриловом Посаде скажут, к нам больше людей поедет. Будет туризм и всё прочее.

Только администрация заводскому начальству не указ. Ну, чего? Посмотрели остатки Мстиславля, слазав на валы, по Юрьеву-Польскому Пётр нас хорошо погулял. Подвальчик со вкусняшками, опять же, всех порадовал. Но осадочек-то остался. Нет, Гаврилов Посад у нас на работе теперь хвалит. А меня — не очень. Это правильно: организатор же вроде тренера. Всегда не прав, ежели чего.

Вспомнили мы с Петром наш бизнес. Вежливо посмеялись каждый над другим. Решили дальше идеи сочинять о туризме ГавПосада. Для полёта мысли и многих идей взяли, чего надо. Отправились в гостиницу. Оля стала нам кукурузу варить, Влад тоже остался, а мы, чуть приняв и закусив, ушли на футбол.

С футболом в Гавриловопосадском районе всё очень серьёзно. Я уже дважды в книге вспоминал Диму Данилова, так ещё раз вспомню. Он недавно книжку написал «Есть вещи поважнее футбола». И вообще любит не только это своё Динамо (Москва), но и команды из мест небольших. Так вот: ему бы тут понравилось. Играл «Темп» против «Авангарда», а рядышком, вдоль бровки построившись, стоит ФК «Кавказ». Да, есть такая команда в чемпионате района на краю Ополя. Сначала она действительно из южных ребят состояла, а затем внутри первенства такие переходы и обмены начались — только ух! Красиво стоят, за грядущими соперниками наблюдают. Даже сфотографировать их хотел — не разрешили. Только тренер согласился. Он, кстати, на той ярмарке лучшие шашлыки делал.

С матчем всё должно было закончиться скоро. «Темп» — сильная команда, их даже на область выпускают, и там они непозорны. Пётр мне так и сказал:

— Сейчас посмотрим, как они штук пять закатят, и продолжим хорошо начатое дело.

Всё, однако, пошло мимо прогноза. За это мы футбол ведь и любим, да? «Авангард» даже соперника поджимал. А пропустив, так вообще озверел. У «Темпа» мне вратарь понравился. Основной куда-то по делам уехал, так они мелкого на ворота поставили. Парнишке шестнадцати нету, а он прыгает лучше маррана из книжки Волкова. И всё летящее к воротам ловит. Конечно, сильно большой футбол — мимо него. Рост не тот. Есть в Италии такой Джанлуиджи Доннарумма. За «Милан», вроде, начинает. Так у него в пятнадцать лет рост под метр девяносто. А для мини-футбола парнишка сгодился б. Увы, он следующей весной сильно порвётся. До полного финала спортивной карьеры. Так бывает. Но мы этого ещё не знаем, любимся им пока.

А тут из судейской приходят ребята. Ну, как ребята? Нашего возраста ребята, только поспортивнее. Они Петра Владиславовича хорошо знают, меня чуть-чуть знают, а Машу совсем не знают. Но приглашают всех. Маша сильно удивлялась. Она думала, будто в судейской важные проблемы решают, а там, оказывается, спортивный режим нарушают! Но вопросы тоже решают. И хорошо решают.

Например, висит плакат с игроками команды «Динамо» (Москва) по хоккею с мячом (Дима Данилов, привет опять, давай в ГавПосад съездим?). И на том плакате автографы. Да, команда приезжала, выставочный матч играла, амуницию дарила. А ежегодно тут проходит Всероссийский турнир любительских команд по всё тому же русскому хоккею. Москвичи едут, нижегородцы, местные разные. Собственно, это и есть хороший спортивный туризм. Придумал такое Юрий Григорьевич Антропов, начав ещё в пятидесятых. Ну, вот: получилось. Летом в хоккей на траве играют. Футбол — понятно. Футбол у всех есть.

Хотя бывает тут один футбол — всем футболам футбол. Это когда встречаются команды Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Общества изучения Владимиро-Суздальского Ополя. За Общество — оба вице-президента. Хламов и Размазин то есть.

Говорят, в такие дни колокола в Суздале сами собою звонят. По причине землетрясения.

Тут матч неожиданно закончился 1:1, и мы пошли в гостиницу, дальше про туризм говорить. Нам Оля с Владом кукурузы наварили. Угощают, довольные такие. Разговор после судейского домика и тутошнего приёма сделался витиеват. Помню, я метафору начал. Дескать, в Суздале нету хрущёвок, там турист себя чувствует будто в старом мире. Ему и этого довольно. А у вас другая фишка. Вот смотри: стоят хрущёвки, а перед ними — настоящий колодец с воротом. Смешение такое старого и вообще старого. Тут надо делать экологический и ремесленный туризм. Знаешь, под Минском есть этнографический комплекс Дудutki? Там центр ремёсел, кузница, самогонка, сельское разное хозяйство. А у вас коняшки ещё.

Засим фразы сделались короче, разговор перешёл на Дудutki, затем на футбол, затем далее. А какой здесь туризм нужен, так Пётр без меня и лучше меня ведаёт. Словом, обещал больше стихов от себя в книгу не включать, но обману. Я по итогам этого вечера Петру Размазину такое написал:

Перерыв

*Было хорошее и перестало,
правда, не так, чтоб совсем помирать,
но раньше на матч двух бутылок хватало
«Балтики» с номером два или пять,
нынче же надо «Московской» ноль-пять:
только завинтишь, а хочешь опять.
Нет, не спиваемся: сборная стала
хуже гораздо играть.*

Но это утром было. Пока ж, комнату чуть проветрив, мы улеглись спать. И был мне самый-самый чудный в жизни сон. Ни в детстве таких не было, ни после армии. Тем более в армию-то я не ходил. Передать тот сон нельзя, поскольку никакой сон передать нельзя. Но смысл простой очень: летают бабочки запредельных размеров, бархатные, пёстрые. В основном — серебро с малиновым бархатом. Чуть меньше золотого. Другие от-

тенки спокойнее. Затем они садятся на траву, делаются цветами. Этот сон, наверное, девочке на седьмой День рождения предназначали, но адресом ошиблись. Я смотрю, мне хорошо-прехорошо.

А потом бац снизу по кровати ногой! И в бок ещё толкают. Нравы-то в Гавриловопосадской гостинице-общаге самые патриархальные, комнаты большие. Нам дали

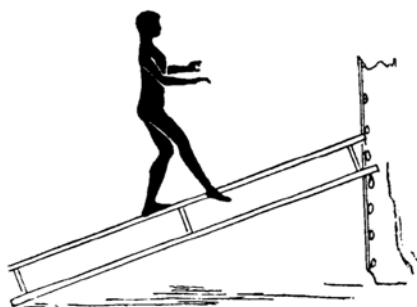
четырёхместную на четверых. Видать, у Оли самые высокие требования до качества сна. Стоит она надо мной в длинной ночной рубашке, указательным пальцем назидательно качая, сурово говорит:

— Андрей Юрьевич! Вы храпите и орёте! Фу так делать!

Я перевернулся, заснул. Больше, говорят, не храпел.

Вячеслав Хисамутдинов

Зима в Зазеркалье



Талабот барои кӯч (Уличный реквием)

Ты помнишь зиму в Зазеркалье?
Как падал снег на тонкий лёд,
И облако плыло вуалью,
Размазывая бледный свет.

Колёса, грязные, давили
Бычки окурков у крыльца.
Несли товарища к могиле
Четыре черных молодца.

Зияла лужа из асфальта.
В ней отражался космос душ.
Последний лист, исполнив сальто,
Разбился о вселенной стужу.

Мигали аварийкой ВАЗы,
И лики мудрых святых —
Таджики — шли в жилетах грязных,
Несли увядшие цветы.

Виолончели и органы,
Жалейка и пастуший рог.
Как много музыкантов странных
Пришло на грустный эпилог.

Сдувало кепки с мрачных магов,
Выплывавших едкий дым.
Седое солнце из оврага
Укрылось облаком седым.

Но скинув скорбные аккорды,
Велосипеды встали в ряд.
И под неровный гимн свободы
Умчали в розовый закат.

Ты помнишь зиму в Зазеркалье?
 Когда ноябрь вдыхает гарь,
 Таджики подметают камни,
 И с неба льется киноварь.

Уродливая женщина листает
 Холодный день в сухом бокале люстры.
 Целует выцветший магнит из Польши,
 Оставшийся от прошлых квартирантов.
 Передвигает, как пустые санки,
 По скатерти кусочек рафинада.
 Летят снежинками колющие субботы.

Пустая мойка, чистые ботинки
 Плывут от раннего рассвета до подушки.

Уродливая женщина мечтает
 В холодный март висками окунуться
 И говорить большими пузырями.

Больные то ли раком, то ли роком,
 они жевали высохшие губы,
 испугано листая книгу «память»,
 цеплялись всеми силами за вечность.
 Но вечность уходила вместе с верой.

Их крестик — то носимый, то забытый
 на дне пустой коробки от Икс-бокса,
 мог оправдать застывший статус «в сети».
 Мог оправдать затертые до крови
 и локти, и колени, и манжеты.

Сверяя пульс с хронометром «Montana»,
 Молились Малышевой с утренним рестартом.
 С любым приемом углеводной пищи
 Иконам Путина и Николая чудотворцев
 Обмазывали лики вязким салом.

Давление, погода, Макаревич...
 Изрезанный живот под влажной майкой.

Иссохшие от жадности по жизни
 недоцелованные злые губы.

Не сотвори себе кумира,
 Тем более — снеговика.
 Не оставляй его уныло
 Кривить улыбку из шнурка.

Не заставляй без век глазницы
 Смотреть на опустелый двор.
 Ты дома будешь жарить шницель,
 А снеговик смотреть на двор.

Не трать природные ресурсы
 На мимолётный результат.
 Душа обязана в искусстве
 Пройти сквозь боль и Дантов ад.

Не будь последним эгоистом.
 И в сублимации своей
 Займись художественным свистом
 Во благо Родины своей.

А если ночью, у подъезда,
 Ты выйдешь выгулять щенка, —
 Не сотвори себе кумира.
 Тем более снеговика.

Вчера я разделил электричкой застывшую
 черную лавину леса и далекую ночь.
 Я смотрел на медленно движущийся
 тёмный, покрывающий выпуклую дорогу,
 чешуйчатый хвост.

А затем долго втягивал ноздрями сырость
 под онемевшим небом,
 загипнотизированный
 туманной рыбой мерцающего города,
 чьи осколки разлетелись на фоне
 усыпанного сажеей холма.

Далёкий человек за потерянным
отражением
в окне автобуса сообщает мне,
обещает мне, говорит:
жаль, ты ничего не знаешь ни о своем
прошлом, ни о настоящем.

Как далеко я пойду пустым коридором
ночи?
Перешагну ли я плен, которого никогда
не осознавал

несколько лет спустя на кухонном столе
ютятся яблоко и корка хлеба.
Снежное буйство продолжается с обеда.
Происходит столкновение обломков
из другой комнаты, другого времени;
мандала обоев откликается,
и сломанные звуки ускользают сквозь горло
дверей

Помню, я вернулся в 1997
и
все, что возможно различить,
это то, что
я сижу на краю кровати, рядом лежит
изумрудный китель.
Сижу, склонившись над армейским
альбомом отца в моих руках

Осень входит в наши дворы,
Пишет пальцем на пыльных стёклах.
Остывает вечерний воздух,
Загораются фонари.

Осень...
...входит в наши сердца,
Долго тлеет на дне закатом,
А затем открывает карты,
И оказывается — пора.

И оказывается, что всё.
Парты, нарды, цветные кадры...
Но от финиша и до старта
Как от вечера до утра.

Осень шепчет: «Пойдём, пора!»
Тянет за руку из тепла
И ключами звенит от марта.

В полумраке звенит дыханье.
Бах встревоженно гладит орган.
Изгибается в тесном подвале
Нотный стан.

Гаснет месяц, скребёт штукатурку
Желтым лаком избыточных снов.
Извивается ночь-проститутка,
Оплывая с дорожных столбов.

Осень капает, вылизав стёкла,
Красных листьев роняя печаль.
Пермь разделась, набухла, намокла,
Тихо охнув, впустила октябрь.

Сумрак вымазав пьяным дыханьем,
В парке Горького корчится фавн.
Бах встревоженно гладит ставни,
От бессонных кадансов устав.

От солёных ушей до Граля
От одной до другой стены
Изгибаются в тесном подвале
Наши сны.

Прими на память из моих ладоней
Отрезок ткани голубого ситца
И ожерелье на литую шею.

Слоёный день под запотевшей крышкой
Отпей наотмашь долгими глотками —
Коктейль из солнца и черничной тени.

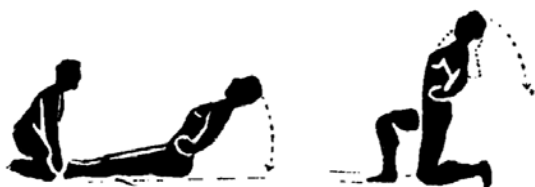
Вдыхая соль с холодного запястья,
Открой рукою ласточки артерий
И отпусти, отбросив сожаленье.

Пульс вздрогнет медленнее и честнее.
Звон голоса ударится о камни.

Прими на радость высохшие крылья,
Что липнут к обезмолвленной гортани
Воздушных жриц из улья Персефоны.

Катерина Гашева

Инфузория в туфельках



Даже самый клуб человеколюбия к крупным скотам в Петербурге при высшем обществе, сострада по праву собаке и лошади, презирует краткую инфузорию, не упоминая о ней вовсе, потому что не доросла.

Ф. М. Достоевский

1.

А они пели, пели, пели. И улыбались много, вкусно, как улыбаются люди, которым не всё равно. Трое били в разномастные барабаны, вокруг прыгала девчушка с ярко-красными маракасами в руках. Публика хлопала в ладоши, некоторые раскачивались, закрыв глаза, Фёдор глаз не закрывал, но тоже старался не выделяться, хлопал, раскачивался и изо всех сил гнал от себя наваждение. В какой-то момент сзади подошла Алёна. Он не обернулся, просто понял, что это она. И сразу ста-

ло легче. Получилось вздохнуть, оглядеться. Лица, лица, лица. Только нужного не было. Варю, Варвару Сергеевну Мылкову, он видел только на фото, но лицо характерное, не перепутать.

Зато барабанщики разошлись так, что было уже не разобрать отдельных ударов, один сплошной рокот и шипение маракасов вокруг. Затем сразу вдруг — тишина.

Фёдор поднял глаза.

Посередине освободившегося — люди то ли расступились, то ли делись невесть куда — пространства стоял длинный улыбчивый парень. Денис — Фёдор сопоставил физиономию улыбчивого с присланными Алёной за минувшую неделю профилями. Да, точно Денис.

Никакой особой атрибутики, самые обычные рубашка, джинсы, мокасины. Свободные, несуетливые руки.

— Давайте присядем, — говорил Денис. — Нет никакой причины испытывать неудобства просто так. Кому-то из вас не по себе, —

это пройдет. Это ничего. Вы сможете... Вы очень много сможете... — Он говорил легко, плавно, он улыбался и показывал ладони.

Фёдор мысленно застонал. Он не любил нэлперские штучки. Терпеть не мог таких парней с открытыми честными лицами профессиональных лжецов. Глядите, люди добрые, душа нараспашку. Всем поможет, успокоит, обогреет, войдет в положение. Штатовская школа. Таким все равно, что втюхивать: модные пылесосы, Бога, инопланетян, тонкие планы бытия... От перемены товара технология не меняется.

Они не хотели брать эту работу. Алёна морщилась, Фёдор был категорически против, но родители Вари были настойчивы, гонорар, опять же, по нынешним меркантильным временам, предложили впечатляющий. Дело за малым, найти и вытащить. Ну, это-то они умели. Точнее, Алёна умела искать, а Фёдор — вытаскивать.

Рассказанная родителями история новизной не поражала. Любимая дочь выросла и отправилась в свободное плавание. Нет, квартиру оплачивали они, но за коммуналку — сама, училась, ходила на допзанятия по физике, а не по клубам всяким там, в дом родительский заглядывать не забывала. А допзанятия эти, кстати, не репетиторство никакое. Скорее кружок по интересам. Когда Варвара на ужин прибегала, только о них и разговору, им там удивительные вещи рассказывали.

А потом не пришла на ужин. Сначала плохого не подумали — дело молодое. А потом еще раз, и еще. Стали звонить — абонент не абонент. Квартира брошена. Потом мать ее случайно увидела. Ехала из магазина, покупок много, следила, чтобы пакеты на колдобинах не опрокинулись, там яйца, на Пасху дело было. Весна стояла грязная, холодная. Дождь. Глаза подняла, а на остановке, на Специалистов, рядом с «Магнитом», смотрит, Варя стоит. Лицо такое светлое, отрешенное, как чертова икона.

А там не приткнуться нигде, не остановиться даже. Пока парковалась... Не успела, в общем. Наверное, автобус пришел. Там их много разных ходит. И где искать?

Отец молча кивал, подтверждая слова жены. Лица у обоих были такие же точно, каких Фёдор навидался в свое время. Аум, Беловодье, всяческие Заветы. Найти и вытащить.

Фёдор уселся на кресло-мешок. На соседний плюхнулась какая-то восторженная толстушка. Завозилась, мазнула по Фёдору взглядом.

«Правда здорово?» — читалось в ее глазах.

Фёдор, насколько смог, передал: «Да, я с Вами!» — и сосредоточился на Денисе. Тот грамотно держал паузу, ждал, пока все рассядутся. Потом прочистил горло и начал.

— У нас уже есть всё. Религии говорят о непостижимом боге, маги показывают фокусы и заставляют верить в чудо. А зачем? — он снова сделал расчётливую паузу. — Не затем ли, чтобы мы забыли главное? Забыли, что человек — это способ мироздания познать самой себя!? — Еще пауза. — Мы нужны вселенной больше, чем она нужна нам. Нам вполне хватило бы этой комнаты, хватило бы быть сытыми, одетыми и в безопасности. Остальное нашептывает нам мироздание, подталкивает, говорит «ищи, открывай». Но, друзья, раз это его желание, разве способно мироздание указать нам в чем бы то ни было?

Денис обвел глазами слушателей.

— У нас уже есть биология. И мы знаем, как устроена жизнь во всех ее проявлениях...

«Ага, щас!» — хмыкнул про себя Фёдор.

— У нас есть физика, есть ответы, как устроен наш мир и остальные миры. У нас есть все. Надо только задать вопрос, и если ответ действительно нам нужен, он будет дан. Это не так, как в школе, ну, представьте, вхожу я такой в кабинет и говорю: «Так, все убрали учебники, пишем самостоятельную работу».

Он приглашающе улыбнулся, и публика улыбнулась в ответ.

— Я не учитель, не монстр с указкой и классным журналом. Я такой же, как вы, просто чуть-чуть раньше понял, какие вопросы надо задавать, чтобы получать настоящие ответы. Я так же ищу и узнаю новое. И скоро вы поймете и сможете все то же самое.

«Как гладко поет, загляденье просто, — подумал Фёдор. — Чушь же порет, ахинею пол-

ную, а эти уши развесили. Чертовы любители халявы. Все у них, понимаешь, есть!»

Он аккуратно, делая вид, что разминает шею, огляделся. Да. Слушают. Вон, слюна даже, как у собачек Павлова. Так, ладно, едем дальше.

— ...возьмем инфузорию туфельку. Мы знаем о ней поразительные вещи, восхищаемся, завидуем даже. А вы знаете, что медузы бессмертны? Уже сейчас бессмертны, и им нет дела ни до наших мыслей, ни до нашей заботы...

Фёдор в уме анализировал публику. Контингент понятный. Подувядшие барышни в ассортименте, пубертат в стадии протеста против чего угодно, идейные любители халявы средних лет, два непонятных мужика — один сидит по-турецки, другой косяк подпирает, и тому, и другому скучно. Секьюрити? Очень может быть. Ну и музыканты работу работают. Ими можно пренебречь для ясности. Всего, не считая Алёны, двадцать семь штук.

— ...если хотите, можете лечь и закрыть глаза. Представьте, что вы смотрите на звезды.

«Грубо, Дениска, грубо»... — Фёдор сполз с мешка, устроился поудобнее и закрыл. Главное сейчас было не заснуть. Армейские рефлексы — использовать для сна любую возможность. В тепле, лежа, да еще и с закрытыми глазами...

По ту сторону век голос Дениса журчал про звезды и реликтовое излучение.

Вечерело. Фёдор остановился под монументальными колоннами псевдоантичного портика бывшего ДК Ленина. Пятнадцать лет назад его выкупил у города Новый Завет, оставил за собой лучшие куски, а остальное выставил в аренду, не оглядываясь на веры и конфессии.

Гранитный Ильич на пустой по весеннему времени клумбе выражал спиной глубокое презрение к реалиям капиталистического будущего. В воздухе висела водяная пыль, так и не определившаяся, кем ей быть, дождем или туманом. В такую погоду не удивишься, если мимо лица проплывет рыба. Или бессмертная (проклятый Дениска!) медуза.

Фёдор огибал лужи, добрался до остановки и сел в кстати подвернувшийся трамвай, по позднему времени практически пустой. Подошел кондуктор, молодой парень баскетбольного роста. Он не глядя обменял деньги на билет, зевнул и удалился. Из ушей парня торчали белые рожки беспроводных наушников. Басы долбили, как давешние сектантские барабаны. Мокрые тела деревьев за стеклами шевелились и отступали обратно в темноту.

Фёдор сошел через остановку и двинулся в глубь спального района. Пятью минутами позже его подобрала Алёна на своем «Матисе».

— Ты почти не храпел.

— Я не спал. Я радовался звездочкам...

Алёна вела машинку мягко и тихо.

— По-моему, здесь ее нет, — сказал Фёдор, достал жвачку и положил в рот.

— По-моему, тоже. — кивнула Алёна. — Мне звонила мать Вари. Пропал еще один мальчик. Они вместе ходили на физику.

— Секта... — кивнул своим мыслям Фёдор. — Собственно, кто бы сомневался. И раз есть пропаданцы, скорее всего, за городом. Вот только при чем тут физика.

Они не были парой, и вообще. Просто иногда Фёдор оставался у нее, они разогревали вчерашние макароны, смотрели сериал (Алёне нравилось про зомби) и занимались любовью. Всегда у нее.

У него была своя квартира, но, во-первых, на отшибе, а во-вторых, заваленная до полной потери жилой функциональности. Он не был собирателем в прямом смысле слова. Просто люди иногда выбрасывали вещи, которые были как бы еще живы, просили «не выбрасывай меня», хранили память. Тогда он не мог пройти мимо и тащил в дом очередной сундук или старую довоенную тумбочку с точеными вставками и глубокой трещиной через крышку. Некоторые из этих вещей ему удавалось пристроить, большинство же оставалось.

Сегодня сериалы решили не смотреть. Сгрузили грязные тарелки в раковину и пошли в комнату. Снаружи внезапно хлынуло, как будто небо открыло все краны. Сквозь балконную дверь это выглядело как сплошная стена воды.

— Давай включим новости, — предложила Алёна. — Хочу послушать, что в мире.

Фёдор механически кивнул, разбудил ноут, щелкнул по закрепленной вкладке. Самого его стремительно накрывало откатом. Не хотелось ни новостей, ни трахаться, ничего. Фоном лениво крутились мысли о Варваре Мылковой и ее пропавшем приятеле.

Он в очередной раз позавидовал Алёне, у которой таких откатов не случалось никогда. За окном продолжался всемирный потоп, о котором «Евроныус», конечно, же не сообщали. А ему надо было расслабиться и получить удовольствие. Это проще, чем объяснять Алёне, почему не...

«Мигранты требуют, чтобы Европа перестала закрывать глаза на проблемы... и еще одиннадцати городах прошли манифестации. Манифестанты требуют ограничить...»

Шепот и горячее сбивчивое дыхание в ухо.

«При подготовке саммита возникли непреодолимые противоречия между...»

Алёна оттолкнула его острыми кулачками и уже через секунду оказалась сверху. Груди ее бодро подпрыгивали под футболкой с надписью «Ночью я — звезда! Раскинула ноги и сплю!». Вдруг Алёна замерла.

— погоди! Важное передают!

«В нашем зоопарке панда Ванга родила замечательную девочку. Малышку назвали Маша, так как родилась она в Москве...».

— Круто! — Алёна сжала ему бока коленями, будто лошадь прищипорила.

Фёдор задохнулся.

— И это твоя новость?

— А что? Знаешь, как мало! А тут... — она раскачивалась взад-вперед, закрыв глаза. — Панды! — Толчок. — Все здоровы! — Толчок. — И родилась девочка!

Фёдор тоже закрыл глаза. Исчезли звуки потопы за окнами, пропал голос диктора в колонках, замер финальный на взлете крик Алёны.

«А хорошо получилось», — удовлетворенно подумал Фёдор и следующие несколько минут не думал уже ни о чем.

— Будем спать или забьем? — как будто издалека спросила Алёна.

— Наверное, не будем, — сказал Фёдор. — Или нет, ты поспи, а я подумаю.

— Не... Я тогда тоже думать буду.

Алёна слезла с Фёдора и уселась, положив под поясницу подушку.

— Этих мы, как я поняла, закончили. Или ты не уверен?

— Тут скорее тебе решать. Ты там неделю проторчала. Как ощущения?

— А никак. Все приветливы. Ни наркоты, ни серьезных техник. Классическое энэлпэ на уровне корпоратов. Неофитов не плющат. Закрытка есть, конечно, но, подозреваю, что тоже стандартный одноуровневый бабкосос.

Фёдор кивнул, дотянулся до ноутбука и открыл карту. Карта была хорошая, с глубоким масштабированием, нанесенной аналитикой за последние двадцать лет и мощным детализированным поисковиком. Он выбрал город, ввел дополнительные параметры, но внятного результата не получилось. Сигналов про новую секту тоже не было ни в открытой, ни в закрытой сети.

Ладно, идем в онлайн.

Нужный человек откликнулся сразу, что неудивительно, поскольку вел преимущественно ночной образ жизни. Он (хотелось думать, что абонент, скрывающийся за ником falshak, все-таки мужик) не слышал ни о чем новом, фото девочки — тоже нет... Вчерашних сектантов falshak знал.

«Они мирные, — писал он, — я мимо проходил как-то, несколько квартир, то-сё, никакого криминала. Про остальных? Буду попробовать поглядеть. В замочную скважину — плата такая же ведь, ага?»

— Что утром? — Алёна заглянула Фёдору через плечо.

— А что утром? Подождем, что нароет фальшак, ты — по родственникам-знакомым, я в Контору, напрягать бывших сослуживцев. Потому что тоталитарная секта с вероятностью дохрена.

— Легенду придумывать?

— Пренебреги. Говори, как есть. Ищем. Пропала.

Алёна задремала. Фёдор жевал очередной дирил и смотрел, как на город наваливается серое утро. Потом прогремыхал трамвай.

«Деструктивная тоталитарная секта», — думал Фёдор. — Деструктивная тоталитарная...

Заныли шрамы. Короткий расплывшийся слева на груди — это ножницы. Белодед хоть и называл себя целителем, скверно разбился в физиологии.

Ожог на запястье — самонадеянная алтайская эскапада, подожженный с четырех концов частокот, пуля в лопатке Сережи Стрижа. И феерический провал терапии. С вытащенным парнем не удалось сделать ничего. Инвалидность по психике. Страх темноты, приступы, седативные горстями.

Провал, одним словом. Первый и потому очень обидный.

Снова прошел трамвай, рассыпая искры с мокрых проводов.

2.

Стас думал очень медленно. При любой попытке ускориться — синий экран смерти. В IT-room никого. Сергей на больничном, Миха в отпуске. Так почему бы и не перезагрузиться. В шкафу есть вискарь, в холодильнике кола.

Он уже потянулся осуществить задуманное, но тут в дверь постучали.

— Открыто! — крикнул он. И опять завис, пытаюсь вспомнить, о чем думал секунду назад.

В дверь заглянула славная девушка, полная и веселая, менеджер по кадрам, короче.

— Принимай новенькую, — сказала она. — Варвара Сергеевна к нам на стажировку. Входи, Варя.

И вошла Варя. Остановилась, огляделась, протянула вперед руки.

— Зовите меня, пожалуйста, Вторая, хорошо? Я не люблю свое имя.

— Хорошо, — отозвался Стас. — Я Стас. Тут должны быть еще двое, но их сейчас нет.

— Понятно. — Варя кивнула. — Каков будет круг моих обязанностей?

«Круг обязанностей... — подумал Стас. — Нехило...»

Он посмотрел на Варю.

— А что вы умеете?

Варя умела многое. Умела говорить с компьютерами на их языке, умела смеяться, впадать в ступор не так, как Стас, но тоже качественно и надолго. Умела пить черный кофе прямо из носика кофейника и так далее, и тому подобное. Свой парень, в общем.

Это продолжалось почти две недели. Стас уже решился было предложить ей зависнуть где-нибудь перед выходными, но в пятницу она свернула работу ровно в пять и стала собираться. На сброшенный по сетке вопрос о планах ответила: «Школа с IT-уклоном. Запись в дневнике: «Отвратительное поведение. Источники в школу!»

И ушла. Стас посидел немного, обдумывая, что в этом контексте делать ему самому. Вообще-то его звали в бар пиво пить, но это было приглашение с подковыкой. Это значит, что Борис опять ушатал свой ноут (глянь, а, я там ничего не делал, оно само как-то), а у Ирочки на андроид новая прибабасина не встает.

Когда уже пиво, из-за стойки выберется друг детства Егор с очередным «новым» компьютерным анекдотом. Что-то типа: «Хороший программист проливает кофе только на себя. И ноут цел, и бодрит лучше».

А разницу между админом и программистом ему не объяснить. Стас сначала пытался, потом плюнул. Что с гуманитария взять.

Стас встал, потянулся и отправился в серверную. Там было, как всегда, хорошо. Климат-контроль фурычит, серверы шуршат, маршрутизаторы перемигиваются. «Хороший админ часто спит на работе», — вспомнилась бородатая и двусмысленная шутка из арсенала Егора.

Стас запустил контрольный монитор. Да. В Багдаде все спокойно. Тоже, кстати, устаревшая шутка в контексте международной политэкономической ситуации, ну да ладно. Он вышел, запер серверную и стал собираться.

Ему не то чтобы нравилась эта работа, иногда хотелось плюнуть, заняться чем-то еще, или, если вдруг вся эта машинерия с паутиной вместе внезапно и повсеместно гавкнет, уехать в деревню, завести козу, корову и огород по всем правилам передовой сельскохозяйственной науки. Пирамидальные

парники, как учил инженер Голод. Золотое сечение, все дела. И обязательно в центре ведро с водой. Один глоток, и долой все болезни. Стас с подозрением относился ко всякой магии, но кристаллическая структура воды — это другое. Солидное научное обоснование и масса эмпирических подтверждений.

Ладно, это когда-нибудь потом, когда окончательно опротивеет работа. А пока будем дышать одним воздухом с серверами... и со всем миром. Он запер кабинет, набрал комбинацию на пульте, вышел в темный коридор и, нашарив в кармане олимпийский рубль, подбросил его, предоставив случаю выбирать, лифт или лестница. Выпала лестница. Стас пожал плечами, свернул к лестнице и сразу же увидел, что на площадке между этажами стоит стажер Варя, которая просит называть себя странным числительным именем.

— Ты чего, еще тут? — спросил Стас. — Вроде, торопилась куда-то.

Она повернулась.

— Дождь. А я без зонтика.

— Э-э-э... — глубокомысленно изрек Стас и замолчал.

— Может быть, у тебя есть зонтик? — спросила она.

— Есть. Поделиться или проводить?

— Да. Если можно.

Они стали спускаться. Варя молчала, а Стас думал, что означает ее «да». И, если проводить, то нужно вызывать такси. Своя машина у Стаса была, но ни сдать на права, ни водить он так и не озаботился.

— Может, поужинаем где-то, — предложила Варя между вторым и первым. — Одной скучно, а я здесь еще не знаю где что.

Стас на несколько ступенек задумался, но тут позвонил Егор.

— Ну ты где? Уже скоро все упыются!

— Ты, наверное, занят... — протянула Варя, — извини.

Стас почти решился сказать, мол, да, занят. Но, собственно, почему бы и не...

— Нет, если тебя не смущает пьющая компания. Не алкоголики, в смысле, просто народ собрался пиво пить. Там, кстати, пиццу неплохую дают, и еще всякое в меню. Так что, если хочешь...

— Я — с удовольствием. — Предложение девушку явно обрадовало.

И они вышли под дождь.

Бар «Наутилус Помпилиус» располагался в одном из полуподвалов бывшего военного училища и был в основном «для своих». Случайный прохожий ни за что не отыскал бы дорогу между гаражей, хозпостроек прошлого и нынешнего времени, заборов и свалок пустой тары. Окнами он выходил на обрыв и реку, а пожарным выходом на пустырь, где круглый год обитала собачья стая. Егор, который баром то ли владел, то ли просто директорствовал, собак подкармливал.

В баре было неожиданнолюдно, шумно и накурено так, что становились видны лучи проектора, транслировавшего на стену картинку у Моргулиса. Егор царил над стойкой. В отдельные моменты казалось, что рук у него, как у Шивы. Одной свободной он помахал вошедшему Стасу.

— Салют, брат! Кто это с тобой, познакомь!

— Это...

— Вторая, — быстро перебила Варя. — Можете называть меня так, пожалуйста. Я не люблю свое имя.

— Это как, квин Элизабэт, да? — расплылся в улыбке Егор.

Столик, который занимала компания, был козырный, рядом с окном. Окно, правда, было грязным почти до полной потери прозрачности.

— Раньше, — сказал Стас, чтобы поддержать разговор, — здесь учили ракетчиков... А теперь бар.

— Хорошо! — улыбнулась Варя.

Из-за столика выбралась Ирина и, не выпуская карт (компания играла в Имаджинариум), повисла у Стаса на шее.

— А мы уже решили, что ты не придешь, — заворковала она.

— А я пришел.

Он снял Ирину с шеи и передал вставшему поздороваться Борису. Потом представил компании Варю и почувствовал даже определенную гордость за себя. За всю историю барных посиделок он впервые привел с собой девушку. Тем более что компания была старая, еще со двора, со школы.

Ну, то есть в родной двенадцатой школе они проучились до выпускного только с Борисом. Егор сразу после начальной ушел в гимназию, Ирина после девятого — в лицей с биологическим уклоном.

Стас усадил Варю, уселся сам и выудил из-под коробки от игры закатанное в пластик меню. Пиццы, как сообщил Борис, уже не было.

Стас выбрал бифштекс с горошком, вялеными томатами и пюре. Варя подумала и заказала то же самое.

Через пять минут к столу протолкался Егор с подносом пива.

— Попробуйте! Черное, как кровь афроамериканца!

— Не буди во мне биолога! — рассмеялась Ирина.

Самое забавное, что друзья все же дали Стасу спокойно поесть. Видимо, на них тоже произвело впечатление присутствие девушки. Так что меркантильность в Егоре взяла верх, когда в бокале было уже на дюжины.

— Слушай, глянь там, а, не работает ни хрена, на счетах считаю.

— Давай, — вздохнул Стас и начал выбирать из-за стола.

— Может, лучше я, — подала голос Варя. — Там же у тебя дрова, или с железом косяк... Мой профиль, в общем.

Она вопросительно посмотрела на Стаса, тот пожал плечами, дерзай, мол.

— Позвольте вас проводить, Ваше Императорское... — склонился в шутовском поклоне Егор. — И не повторить ли вам рабочей жидкости.

— Повторить, — согласилась она.

Стол поддержал аплодисментами.

— Ну что, поиграем? — спросил Борис.

— И на меня! — крикнул Егор, — провожу Ее Величество и сразу с вами!

— Опять будем ждать... — пробормотала Ирина и потянулась, как кошка.

Борис смешал и раздал карты. Стас глянул в свои и понял, что мозг снова начинает торкать. Особенно посреди такого шума.

Шум, и правда, был почище, чем в серверной. Со стены продолжал петь Борис Бо-

рисыч, и людям за столиками приходилось орать, чтобы утолить жажду коммуникации.

— ...она маленькая, как мышь...

— ...Я вчера на лекции в универе был! Прикинь, ага... По физике и биологии... Нет, одна! Там мужик так классно рассказывал...

— ...кому питница, а мне на сутки с утра...

— ...программист, бухгалтер и физкультурник заходят в бордель...

— Ты играешь или где? — спросила Ирина. — Я могу положить карту, черное на белом. Вот так!

Стас хотел было отказаться, но тут вернулась Варя в сопровождении Егора с очередным подносом пива, на сей раз, для разнообразия зеленого, как кровь эльфа, и все стало хорошо. Как друг детства опять умудрился сломать си-кипер и базу, Стас слушать не стал, тем более что Ирина громкогласно требовала не тупить и продолжать кон. Пиво, зеленое и черное, лилось рекой.

В баре они проторчали до полуночи и сидели бы еще, но Ирина вдруг засобиравшись, Борис (кто бы сомневался) подорвался провозжать, а Егор и так уже час косился в сторону стойки, где в его отсутствие хозяйничала девица в стиле эмо.

Когда Варя и Стас выбрались из темного лабиринта, дождь кончился и над миром висела слегка объединенная с левого бока луна. Стас шел и думал, что от пива почему-то обостряется чувство реальности. Цвета, звуки, запахи становятся четкими и даже как бы выпуклыми, а люди, наоборот, расплываются, сливаются с фоном.

— Ты слышишь? — потербила его за рукав Варя. — Я тебе рассказываю, а ты не слушаешь!

Лицо ее терялось в темноте. Стасу она вдруг показалась старше, чем он привык видеть за время общения.

— Извини, задумался.

— Я говорю, меня манит реликтовое излучение.

— Что?

— Реликтовое излучение, — сказала она отдельно и серьезно. — Когда произошел

Большой Взрыв... в общем, это такое тепловое излучение, возникшее в эпоху первичной рекомбинации водорода. Оно обладает спектром, свойственным для абсолютно чёрного тела и равномерно заполняет всю Вселенную. Считается, что оно не исчезнет еще миллиарды лет. Понимаешь?

Стас хотел сказать, что понимает, но не выдержал и икнул.

Варя замолчала, а потом оба рассмеялись.

— Извини, — сказал Стас.

— Ничего. Я как будто пива не пила... А излучение... Я вот думаю, а что, если этот свет, которого мы не видим, но он есть... если этот свет пропадет...

— Не знаю, — Стас пожал плечами. — Слушай, может, тебе в физики податься.

— Может. Я еще не решила.

— Ну, за миллиард лет еще успеешь.

Варя Вторая кивнула и потом уже молчала, пока Стас вызывал такси.

3.

С началом розыскных задержались почти до полудня. Мать Вари долго рассказывала биографию девочки, потом зачем-то показывала фотоальбомы. Алёна кивала и размышляла.

— А вот ей десять, — говорила мать, — видите, какая бука? Это ей не разрешили взять собаку. Мы потом купили, но она-то хотела тибетского мастифа, а где ж его взять. Бульдога купили, вы знаете, что для городской квартиры французский бульдог — лучшая собака. Умная, добрая, с детьми хорошо. Только однажды он чуть не утонул. Взяли с собой на пляж, Варя в воду, а он за ней. И чуть не утонул. Представляете, оказывается, бульдоги совсем не могут плавать.

Алёна думала, что занимается сейчас совсем не своим делом. Психология — это по части Фёдора, нас, уж простите, другому учили. Чего же он молчит-то. Давно бы уже стабилизировал мамашу, может ведь.

Наконец она не выдержала, под села ближе и взяла мать за руку.

— Простите, мы вам верим и все понимаем. Секта... Тоталитарная секта, это всегда страш-

но. Хотя... ваша дочь сильная, есть шанс, что все обойдется. Только спешить все равно надо.

— Да-да, конечно.

Женщина замолчала. Руки у нее ощутимо дрожали. Красивые руки с длинными ухоженными пальцами.

— А точно...

— Мы ее найдем. — постаравшись придать голосу максимум убедительности, сказала Алёна. — Всегда находим.

— Только этого может быть мало, — наконец, подал голос Фёдор. — может потребоваться долгая и тяжелая терапия.

На лице молчавшего весь разговор отца заходили желваки.

— Но о худшем говорить пока просто рано. Как правильно сказала коллега, сначала найдем...

В машине помолчали, переводя дух, потом Фёдор спросил:

— А ты совсем не допускаешь, что она, того... мертва, короче. Всякое ведь бывает.

— Нет, — Алёна задумалась. — Не чувствую ее мертвой.

Она включила музыку и аккуратно тронулась с места.

— Интуиция?

— Да, интуиция. Я знаю, ты ее не любишь, но я, извини, баба.

Фёдор кивнул. «Может, я, может, ты сможем изменить этот мир. Мы тянемся к душе, которая бродит в потьмах...» — пели в колонках бессмертные Скорпы.

— Где тебя посадить? — спросила Алёна, когда песня кончилась.

— У магазина где-нибудь. И, кстати, ты, когда подруг интервьюировать будешь, про секту молчи, вдруг кто тоже там. Просто родители волнуются. Имеют право. Ну, ни пуха.

— Ни пуха, — ответила Алёна, тормозя у «Красного и Белого». — Когда встреча.

— В двадцать один.

Она кивнула. Фёдор хлопнул дверцей.

Несмотря на то, что ветер разогнал тучи, теплее не стало, кажется, температура даже еще упала. В скорое лето не верилось совсем. Алёна подкрутила печку и решила для на-

чала посетить бывшую (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить) Варину квартиру.

Дом был хороший, новый, с бдительной консьержкой при единственном подъезде.

— Здравствуйте, — сказала Алёна решетке домофона. — Я в двадцать третью.

Динамик что-то пробурчал, но дверь не открылась.

— Откройте, будьте любезны. Я подруга Варвары Мылковой, у меня ключи, и в квартире мои вещи.

Пока поднималась, перебирала в уме, что удалось выловить в соцсетях.

Последняя запись почти годичной давности. Тэг: «мои друзья и подруги». Шесть парней и шесть девиц на фоне набережной. Селфи — значит снимала сама. После — ничего.

Перед дверью Алёна стянула резинку и распушила волосы, так будет выглядеть моложе. Звонок. Дверь открывает мальчик, нет, конечно, парень, юноша, просто выглядит уж очень юно (и, знакомо, кстати, прическа другая, но это точно один из тех самых друзей-подруг).

— Приветик, — сказала она. — Я Варю ишу. У нее мои лекции остались.

Парень повертел головой. Он был одет в черную футболку с надписью «Какая-то фигня на Инглише», джинсы и мягкие домашние тапки. Неопрятные, на первый взгляд, патлы до плеч, на второй — явно были из модной парикмахерской.

— А я причем? — голос высокий, ломающийся, — я после нее уже въехал.

— Меня зовут Майя. — соврала Алёна. — Давайте я войду хотя бы, а то через порог как-то неудобно.

— Я... Я Второй, — не очень понятно представлялся парень и посторонился.

— Второй — это имя или звание?

— Имя... и здесь нет ее вещей, — сказал он.

Вещей в квартире, оказавшейся еще и студией, было действительно немного. Минимализм по-хипстерски. Черно-белые тона. У окна стойка с комнатными растениями и цветами. Сбоку маленькая розовая леечка.

— Твои? — Алёна кивнула подбородком на зеленый уголок.

— Мои.

— А этот как называется?

Она быстро просканировала взглядом комнату.

Странности наличествовали. И главная, что мальчонка не послал ее далеко и надолго, просто поглядев в глазок. Затем имя... Флора... А еще, тут явно присутствует женская рука. Не живет, а, кстати, именно присутствует.

— Не помню. Я плохо запоминаю названия.

Он ждал, что она еще что-то спросит. И она уже готовила следующий бесцеремонный вопрос, но тут зазвонил ее мобильный. Номер был Фёдора.

— Алло, Тейфелька, как хорошо, что ты позвонил, я уже волновалась, вообще-то. Как долетел, как погодка?

— Ясно. Лови фото. И слушай, мне Фальшак написал, что следов настолько нет, что аж прямо чудеса. А в квартиру вселились...

— Хорошо, бутербродик, — перебила Алёна, — целую.

— У тебя чудовищная конспирация! — вздохнул в трубке Фёдор и дал отбой.

— Ладно, извини за вторжение! — Алёна улыбнулась, — если тетрадки вдруг всплывут, я телефон оставляю, ага?

Она вытащила блокнот — о прошлый век, о каменный топор, — написала свой номер, припилила листок на холодильник, сказала «пока», и, вилля бедрами, покинула квартиру.

В подъезде проверила наблюдение. Фото то же самое, что она наискала в сети. И парень точно этот, только прическа почти под ноль (эх, мне бы такие волосы).

Фёдор перезвонил ровно в момент, когда дом скрылся из виду.

— Теперь можешь говорить?

— Теперь могу.

— Фальшак считает, что вот эта дюжина — все в теме. И я готов с ним согласиться. А еще мне очень хочется проверить, нет ли среди них второго нашего потеряшки.

Так что давай встречаемся у нас. Когда тебя ждать?

— Через час. — Алёна прикинула пробки. — И я жутко голодная.

На обед Стас не ходил. Приносил из дома контейнер бутербродов и фрукты. А в свободное время смотрел мультики, предпочитая всем прочим куваевскую «Масяню». Он вообще не любил смотреть новое. Но сегодня даже привычное старое не хотелось.

Все утро понедельника они с Варей Второй не перебросились и словом. Он-то разговора ждал, провоцировал даже, а она — ни жестом, ни взглядом. Как и не было ничего. К обеду даже закралась мысль, а не приснилось ли ему все с устатку. Он снова выразительно глянул на стажерку и ущипнул себя за руку да так сильно, что зашипел от боли.

— Ты чего? — удивилась Варя Вторая. Она как раз возвращалась от кофейного автомата со стаканчиком приторно сладкого (двойной сахар) американо.

— Ничего. — сказал Стас и подумал, что сейчас он наверняка не спит.

Варя смотрела на него, будто ждала чего-то.

— Слушай, — смущаясь начал он, — а мы правда ходили в пятницу в Наутилус?

— Правда, — серьезно ответила она. — Было здорово.

За окном отчетливо припекало настоящее уже весеннее солнце. Как будто люди выдержали испытание непогодой и теперь пожинали заслуженные плоды. Ветер, конечно, пока холодный, но, как говорил один известный царь, и это пройдет.

— Давай погуляем? — поддавшись порыву предложил Стас, и сам жутко испугался, аж испарина выступила и зачесались одновременно все неудобные и плохо доступные места.

— Давай.

Стас решительно не знал, как и куда гулять девушку. В парк отвести что ли. Но там даже не сесть. Мокро еще и лужи. Купить вина? Или пить пиво и шутить шутки из интернета? Пока он так страдал, закончился не только обед, но и большая часть второй половины рабочего дня. Спасла его Варя.

— Давай сходим к реке? — предложила она.

С работы вышли в желтые сумерки. Варя молчала занятая какими-то своими мыслями. Стас сначала пытался шутить на профессиональные темы, но не получил реакции. Надо было что-то предпринимать, вот только что?

— А почему Вторая? — спросил он просто, чтобы услышать ее голос.

Варя подняла голову.

— Тебе не нравится?

— Не знаю...

— Если хочешь, придумай мне имя, — предложила она. — Мне все равно. Я же не первоцвет.

Они свернули на улицу Звездная (грязная, узкая, а понтов-то, понтов) и оказались над обрывом. Внизу горели фонари. Ветер просвистывал насквозь, но река лежала мертвая, неподвижная.

— Тебе не холодно?

— Нет. Точнее, померзну, это полезно.

Сдвоенное эхо шагов разносилось далеко вокруг, пока они спускались на набережную по вытертым гранитным ступеням старинной лестницы. Голые еще пирамидальные тополя стояли тоскливые, неухоженные.

— Ты удивительная, какая-то...

— Правда? Почему так решил?

— Просто. А еще мне кажется, что у нас почти свидание...

Варя стегнула его быстрым взглядом, но не отодвинулась, и выражение лица осталось прежним.

— Прости, я, э-э-э... не хотел... Просто мысль. Шутка.

— Забавно, — сказала она, провела пальцами по чугунным сочленениям решетки и вдруг подняла руку почти к лицу Стаса.

— Видишь браслет. Я ношу его как память. А у тебя есть память? Игрушка какая-нибудь, записка, чашка?..

— Нет, — признался Стас. — Как-то не получается обрасти вещами. Все время по съемным квартирам. Теряется все.

Ее вдруг что-то заинтересовало. Она замерла на секунду, а потом спросила:

— Сколько ты жил... в каждой?

— Давай посчитаем, — Стас воодушевился неожиданной зацепкой. — В последней — лет пять уже, нет, четыре. В той, что была до этого,

меньше — три, кажется. Первая вообще была на окраине, добирался до работы два часа, представляешь? Слушай! А ты что, ищешь квартиру, так у меня риэлтор знакомый есть.

— Нет, — пожала плечами Варя, — жилье у меня есть, и даже недалеко.

Они еще гуляли, разговаривая о каких-то пустяках. Стас героически навязал спутнице свою куртку. Потом заметил впереди светящийся вагончик «Шаурма-Сити» и предложил пополнить калории. Что интересно, на это предложение Варя тоже согласилась.

Перед вагончиком очень кстати обнаружились два высоких, на стоячке столика. Им выдали по бумажной тарелке с шаурмой, и Стас обратил внимание, как внимательно и аккуратно Варя ест. Как будто с интересом. Как будто сравнивая, а сравнивать не с чем.

Подкатило блестящее черное авто, и их обдало волной неожиданно классической музыки.

— Моцарт? — удивился Стас.

— Не знаю, — сказала Варя растерянно. — Я не знаю музыки.

Из авто вышел высокий пожилой подтянутый мужчина в костюме и при галстуке. Музыка неслась над набережной, над рекой. Музыка шипела, как холодный кипяток при боя, накатывалась и откатывалась, чтобы снова, собравшись с силами, накрыть с головой.

— Две шаурмы с собой, — сказал мужчина продавцу. — И шнелле!

— Простите, — обратился к нему Стас. — Это же Моцарт?

Мужчина обернулся, глаза его блеснули нордической синевой, которую не сумел пригасить даже неверный ртутный свет близкого фонаря.

— Точно, — подтвердил он, — Вольфганг Амадей. «Похищение из Сераса».

Затем получил свой заказ и был таков вместе с музыкой. Варя смотрела вслед и вытирала руки салфеткой.

— Проводить тебя? — Стас решил, что терять ему уже нечего.

— Проводить? Нет. Мы и так хорошо погуляли. Я многое узнала.

— Чего от меня можно узнать?

— Разное. Вот, держи, а я пошла.

Она как будто оттолкнулась ботинками и поплыла по асфальту. Стас остался стоять, и только потом, когда фигура Второй, которой он так и не придумал имя, скрылась за углом, рванулся вслед. Какого черта, пусть возьмет куртку хоть насовсем, или завтра на работе вернет.

За углом был сквер, а за ним трамвайная остановка. Варя скорее всего идет туда, догнать будет несложно. Это если не свернула к Разгуляю.

Он долетел до угла и замер, девушки нигде не было. Разве что успела скрыться там, за темными купами кустов, казавшихся отсюда бессмысленной путаницей витой пары. Он заметался, обшаривая пространство глазами, и вдруг услышал вскрик.

Дальше все произошло очень быстро. На бегу Стас успел заметить, что над обмякшим телом Вари Второй склоняется серая тень, а затем стало нечем дышать. Стас по инерции пробежал еще несколько шагов, хватая ртом куски ставшего твердым воздуха, и падая, успел увидеть, как мгновенно вспыхнули лиловым светом и погасли фонари вдоль главной аллеи.

— Блин! — сказала Алёна, пряча в карман использованный шприц, — это нехорошо.

— Пустяки, — Фёдору было неловко, что он, не разобравшись, на рефлекс подшиб парня по-взрослому, — очнется часов через несколько. Давай, грузим пташку в машину.

— Грузим, — согласилась Алёна и глянула на Фёдора черными щелочками глаз. — Но этого тоже с собой. Нельзя так оставлять.

За кустами, там, где стоянка была решительно запрещена, их ждал микроавтобус.

Они сноровисто затащили молодых людей внутрь, и Алёна сразу же тронулась.

— К рассвету будем на месте, — сказала она через несколько минут, сверившись с экраном мобильного. — Ты этому, кстати, тоже вколи. Пусть поспит спокойно.

— Уже, — отозвался Фёдор.

Он сноровисто обшарил сначала девушку, потом парня, нашел телефоны и вынул батарейки.

— Парень, кстати, не при делах, — сказал он. — С фотками не совпадает, и на сектанта не похож.

— Интуиция? — не оборачиваясь улыбнулась Алёна.

— Логика. — отрезал Фёдор и надолго замолчал.

5.

Стас пришел в себя от ощущения, что его куда-то несут. Слух и зрение медлили, потом, как сквозь стену, донеслось: «Тяжелый, гад!» и смех, кажется, женский. На этом месте дурнота накатилась с новой силой, и Стас снова провалился в забытие.

Очнувшись во второй раз, он решил, что все случившееся — сон, немного странный, но бывали и страннее, а сейчас просто утро. Вот только с кровати что-то не то. Он открыл глаза и обнаружил прямо перед собой бревенчатую стену с окном. Пейзаж за окном был отчетливо деревенский. Сам он лежал на низеньком топчане, укрытый спальником, немного болела голова, ныл живот, но самое главное — наручники на запястье, соединенные с массивным кольцом, ввинченным в подоконник.

— Эй! — заорал Стас. Подумал, какие бы выдвинуть требования, но в голову ничего не пришло, так что он просто повторил свой призыв.

Мир откликнулся, и в помещение вошла усталая молодая женщина. Ее светлые волосы были схвачены на затылке розовой аптечной резинкой.

— Привет! — сказала она.

Стас таращился молча.

— Не молчи давай, голова болит?

— Болит... немного.

— Сейчас, — женщина вышла из комнаты и сразу же вернулась со стаканом и таблеткам. — Пей, это просто цитрамон.

— Вы кто? — Стас сел, звякнув наручниками, забросил в рот таблетку, запил. — Что вам от меня...

— Извини, — сказала женщина, — нет, правда, извини, так получилось. Я — Алёна,

кстати. А ты... ты просто случайно подвернулся. Не оставлять же тебя валяться под кустом. Холодно, да и мало ли что.

— Кто вы? — опять спросил Стас. — Что вам надо? Где Варя?

— Давай так, — сказала Алёна, улыбаясь. — Я отвечу на твои вопросы, но сначала ты ответишь на один. Что тебя связывает с Варей?

— Второй, — машинально поправил Стас. — Мы работаем вместе. То есть я работаю, а она на стажировке.

— Кем? — спросила Алёна быстро.

— Админом... и по железу еще. Стажировка, говорю же.

Алёна кивнула.

— И как она работала?

— Нормально... хорошо... я не понимаю!

Алёна выставила ладонь в предупреждающем жесте. Стас замолчал, собственно, ему и сказать-то было больше нечего. Внезапно захотелось в туалет. И еще есть. Он завопил, заозирался. «Куда я попал? Чего им (он был на сто процентов уверен, что Алёна не провела похищение его и Вари в одиночку) надо? Выкуп? Убьют? Тогда при чем здесь работа?»

— То есть вы никогда не ходили на лекции по физике-биологии в ДК Ленина или университет.

— Нет! — ошарашенно ответил Стас. Голос на гласной дал петуха, на него неумолимо накатывалась истерика. — Я на экономе учился, на информатике... И что, теперь вы меня убьете?

— С чего ты взял? Просто... — и она рассказала Стасу про предполагаемую секту, про необъяснимую пропажу девочки Вари с семейного горизонта и прочие странности.

— А ты... — она развела руками, — просто коллега перестарался от неожиданности.

Посмотрела серьезно.

— Вот и все.

— То есть вы, — Стас даже забыл о своих проблемах, — вы собираетесь ее вытаскивать.

— Да, будем. Тебя я, кстати, могу отстегнуть, если пообещаешь не барагозить. Да и бесполезно. Боец ты, уж извини, никакой, смыться отсюда тоже не вариант, а так хоть в сортир сходишь, умоешься.

Стас энергично закивал, выражая, как говорят в боевиках и полицейских хрониках, готовность к сотрудничеству.

— А можно мне к ней?

— Не стоит пока.

Алёна подошла к Стасу, расстегнула наручники, выдала ему тюбик детского крема с лисичкой на этикетке.

— На, намажь запястье. А подруга твоя все равно еще спит.

Удобства оказались в классическом деревенском стиле, старая дощатая будка с окошечком в виде сердечка на уровне глаз. Огорода при доме не было, вокруг привольно покачивались сосны, цепляя макушками облака. Стас вышел, ежась от холода. О судьбе своей куртки спрашивать не стал, полагая, что борцы с сектантством едва ли озаботились подобрать ее в процессе своего импровизированного киднеппинга. Однако снова выйдя на улицу, он обнаружил Алёну с его курткой в руках.

— Все хорошо? — спросила она.

Вопрос Стаса покорибил. Какое хорошо, когда его вырубili, похитили. А сегодня рабочий день, между прочим. Может, они ему еще и справку выдадут...

— Вы одна тут? — единственное, что он нашелся спросить.

— Нет. — Вопрос Алёну не удивил. — Еще мой коллега.

Был чай из пакетиков, шатающийся антикварного вида стол, маленькая кухня с дровяной плитой. Алёна, прихлебывая из большой глиняной кружки, объяснила Стасу, что в город его вернут, как только появится возможность.

— Только извини, поедешь с завязанными глазами. Безопасность. Вдруг ты захочешь поделиться чем-то с правоохранительными органами. Мы с ними не ссоримся, но зачем лишняя нервотрепка.

— А телефон?

— Тоже в городе отдам, извини.

Через час они уже тряслись в «Газели» по разбитому проселку. Дорога стала лучше. Алёна включила музыку. Не Моцарта, конечно, но хоть какой-то фон.

«Ну, вот опять, — думал Стас, — только познакомился с девушкой, да, странной, но так хорошо все начиналось...» Он задремал,

и проснулся только, когда микроавтобус резко затормозил.

— Приехали, — раздался голос Алёны. — Снимай повязку.

Свет ударил Стасу в глаза.

— Ничего, сейчас привыкнешь. Держи телефон.

Стас вылез наружу, щурясь от яркого света. Алёна стояла, ждала чего-то.

— А можно, я тебе... в смысле, вам позвоню, узнать...

Алёна задумалась, потом кивнула.

— Почему бы и нет, записывай номер. Потом села в «Газель» и воткнула зажигание.

Первым делом Стас, разумеется, позвонил на работу, ожидая самого худшего. Однако судьба к нему благоволила. Трубку взял задолбавшийся на больничном Сергей.

— Наконец-то! — воскликнул он. — Учти, я тебя прикрыл с утра! А потом подумал, может, ты умер. В фэйсе и инсте тишина, телефон вне зоны.

— Я проспал, — сказал Стас. — Просто проспал. Сейчас на работу приеду... Досыпать.

6.

Фёдор сидел на стуле и читал, временами поглядывая поверх страниц на спящую Варю. Книжку он случайно обнаружил на чердаке, взял пролистать и внезапно увлекся. И утро ему нравилось. Светлое. Медлительное.

То, что Варя проснулась, он не увидел, а почувствовал.

— Доброе утро, — сказал он, откладывая книгу, — как спалось?

— Доброе... — не то согласилась, не то сыронизировала Варя. — Кто вы?

Нет, не сыронизировала. Она не впала в истерику, не испугалась. Фёдор не сразу поверил своему наблюдению, а когда поверил, изрядно озадачился. Ей было интересно. Просто интересно, и ничего больше.

— Скажем так, я вас украл по просьбе ваших родителей. Они очень волнуются.

— Понимаю, — серьезно кивнула девушка. — Когда становишься первоцветом, про-

шлая семья теряет значение. Мне очень жаль. Я просто пыталась их оградить.

— От чего?

— От разочарования. Они же любят... меня... И я, наверное, их тоже раньше. Не помню.

Фёдор вздохнул, положил книгу на тумбочку и встал в изголовье кровати.

— А теперь первоцвет, да?

— Не обращайтесь внимания, это просто удобное название, — сказала она. — Если можно, я хотела бы позавтракать.

Когда на базу вернулась усталая и голодная Алёна, у Фёдора скопилась изрядная пища для размышлений.

— Очень странная барышня, — говорил он, накладывая Алёне макароны по-флотски. — Как будто вменяема, но... Не знаю пока, как сказать.

— Что говорит? — Алёна размешивала в кружке нескафешный три в одном.

— Говорит, что не видит причин подозревать ее в принадлежности к секте. Что это глупо и забавно.

— Вот как... — сказала Алёна без интереса. — Ты уже решил, кто сегодня дежурит?

Фёдор покосился на ноут, куда транслировалась картинка с трех камер. Во всех трех окошках присутствовала Варя. Она сидела на постели и грызла яблоко.

— Ты отдохни давай. Я слежу.

Алёна подошла и тоже посмотрела на экран.

— А если мы все же ошиблись? Может, нет секты. Может, они, родители, в смысле, ее обидели. Может, аневризма, да мало ли что?

— А первоцвет? Впрочем, неважно, посмотрим.

Через два дня приехали родители Вари. По мнению Фёдора, никаких скелетов в шкафу они не прятали, во всяком случае, были очень похожи на родителей, которые не знают, чего ждать и что делать.

— Как она? — спросила мать.

— Технически в порядке. — сказала Алёна. — Технически.

— Что вы хотите сказать? — спросил отец.

— Пойдемте, сами посмотрите.

Фёдор молчал и упорно жевал жвачку,

которая упорно отказывалась помогать от курения. Он встретил родителей на крыльце и проводил в дом.

— Варя! — всплеснула руками мама.

Варя Вторая повернула голову, оглядела отца и мать, вздохнула.

— Меня не зовут Варя, — раздельно, как маленьким детям, проговорила она. — Мне очень жаль, но я не ваша дочь.

— Как же...

— Очень просто. Ваша Варя любила информатику?

— Что? — у отца как будто прорезался голос. — Что ты говоришь?

Мать плакала, но еще старалась сдерживаться.

— Хорошо, перефразирую. Я любила информатику?

— Нет, — сказал отец, — но я не понимаю...

— Я люблю информатику. Я люблю физику. Я не в восторге от биологии, но я уважаю ее. А теперь отпустите меня отсюда. Мне тут надоело.

— Что она говорит? — спросил отец. — О чем она?

Когда родители вышли, Алёна проверила комнату и закрыла снаружи на ключ. Вид у нее был усталый и нервный. По Фёдору внешне ничего заметно не было, но внутри — те же симптомы.

Все сидели на кухне. Алёна заваривала чай и рассказывала.

— Симптомы... Ну, вы самим видели. Все известные методики мы перепробовали. Если это блок, то нового, неизвестного типа. А все, что вы нам про нее рассказывали — никаких совпадений, никаких зацепок. Другой человек. Даже у потерявших память так не бывает.

— Но что-то можно... — мать всхлипывала и не могла подобрать слов.

— Мы можем ждать, что ситуация изменится сама... — начала Алёна, но Фёдор перебил.

— Можем отпустить ее. — Фёдор посмотрел на родителей по очереди. — Она социализирована, работает. Просто перестала быть вашей дочерью. Можно попробовать выяснить, как так получилось, но...

Дальше случилось то, что обязательно случилось в таких вот беседах с родителями сектантов. Фёдор не слушал. Родители обвиняли, кричали, требовали, а он мечтал о сигарете и чуть-чуть поспать. «Правильно, — думал он, — говорит Алёна, лучше не провоцировать. Сами выдохнутся, и можно начать нормально работать. Хотя с чем тут работать, если даже глубокий гипноз не дал ни малейшего результата. В трансе девочка продолжала утверждать, что она — Вторая. И далее по тексту».

Родители уехали вечером. Они уже не настаивали на немедленном результате. Они вообще ни на чем не настаивали, просили пообещать всякие глупости, и Фёдор, не моргнув глазом, обещал.

Когда отсветы фар исчезли между соснами, он сказал Алёне:

— Мне надо развяться. Хотя бы съездить домой.

У него болело все тело, вернее, как будто разом открылись все старые раны. Алёна смотрела на него, скрестив на груди руки.

— И как ты поедешь? Ладно, у тебя прав нет, так ты же и не умеешь. А я, сам понимаю, отлучиться никак не могу.

— Знаю, — лицо у Фёдора прыгало. — Тут до трассы всего ничего. Машину поймаю. Ты не думай, я быстро.

— Возвращайся скорее, — сказала Алёна. — Хочешь, я потом испеку блины? Я умею, честно-честно.

Фёдор сказал, что очень хочет, и ушел, косясь на темнеющее над соснами небо. Кажется, собиралась гроза. Вместо своего телефона он сунул в карман Алёнин. Но возвращаться теперь — это гарантированно остаться в доме с этой Варей Второй. Нет, возвращаться нельзя.

Машину удалось поймать, когда по асфальту уже колотили первые грозовые капли.

— Вовремя я вас, — сказал водитель, — сейчас ливанет.

И оно ливануло. Стало даже страшно.

— Переждем, может, — предложил Фёдор.

Водитель покачал головой. Из мощных динамиков неся «Реквием». Казалось, что Вольфганг Амадей спорит с грозой, не без оснований рассчитывая победить в споре.

Гроза оборвалась перед самым городом. Небо очистилось, и только по земле еще катились мутные потоки. Скоро вода уйдет, впитается в землю, станет реками, океаном, чтобы снова пролиться дождем, где-нибудь, возможно, совсем не здесь.

Водитель подвез его почти до своего дома, сославшись на то, что ему по пути. Фёдор не поверил, хотел было протестовать, но посмотрел в спокойные голубые глаза и передумал.

Машина, взвизгнув тормозами, скрылась за поворотом.

Фёдор постоял-подышал и пошел к дому. Он так мало появлялся здесь, что, когда открыл дверь, в ноздри шибануло запахом пыли.

«Здравствуйте, вещи», — подумал он, не включая свет. Небо за окнами было оранжевое. Гроза уходила на запад.

В кармане запиликала непривычная мелодия.

— Да, — ответил он машинально.

— Я думал, это телефон Майи, — голос в трубке. — С кем я могу...

Фёдор знал этот голос. На Алёнин телефон звонил Денис.

— Кто дал вам этот номер... Денис, правильно?

— Не важно, — ответила трубка. — Просто я хотел бы услышать Варвару Мылкову. Я знаю, что она у вас.

— Правда?

— Не надо, пожалуйста, врать. Я знаю, что вы ее забрали. А это, между прочим, незаконно. И ее молодой человек скучает.

Фёдор, не нажимая отбой, положил телефон в карман и медленно сполз по стене. В трубке что-то ворковал голос Дениса. Раздались гудки. Потом тишина. Фёдор сидел, не делая попытки пошевелиться, пока совсем не стемнело.

7.

Следующим утром Варя попыталась сбежать. Разумеется, ничего не вышло. Она замкнулась, стала меньше говорить и явно

готовила новую попытку. Фёдор обсудил ситуацию с Алёной. Вместе решили спросить у девушки прямо. Спросили.

— Вы не понимаете, — говорила Варя Вторая. — Я должна уйти! Скоро обмен! Пожалуйста. — И раз за разом повторяла эту фразу.

Однажды, когда Алёна уехала в город, Фёдор зашел к Варе.

Девушка неподвижно лежала на постели, спрятав лицо в подушку.

— Эй, Вторая, — позвал он, поддавшись внезапному порыву.

Она обернулась. Бледное угловатое лицо, глубоко запавшие глаза. Сколько она уже здесь? С весны, а уже лето перевалило за середину.

— Кто ты такая, Вторая? Где Варя?

— Я... — она, как и раньше, была готова отвечать на вопросы, — Вторая. Другая. Не Варя. Мне очень плохо здесь. Отпусти.

— Не могу. Ты моя работа. — просто ответил Фёдор.

Чуда не произошло.

К обеду вернулась злая и обескураженная Алёна.

— Ты не заходил в сеть? — с порога спросила она. — Там в Фейсбуке...

Фёдор отрицательно покачал головой. Он не любил соцсети и без нужды туда не лез. Сейчас, видимо, лезть придется. От нехорошего ожидания у него заныл затылок.

Алёна щелкнула по вкладке, быстро пробежалась по клавишам.

— На, читай!

Фёдор тоскливо посмотрел на Алёну.

— Разговаривали с ее отцом, ну, про ту клинику, и тут вбегает их домработница, что ли, не знаю, и вот это показывает.

Фёдор читал:

«Новое будущее.

Вы никогда не замечали, как мало мы можем? Как нам хочется быть разными лицами? Как здорово, когда сегодня ты парашютист, а завтра математик или живописец? Есть сотни профессий и сотни жизней. Почему они все должны быть чужими? Зачем ждать, что, может быть, у наших детей получится лучше, когда мы и сами можем. Мы умеем это с са-

мого начала времен, со времен простейших. Возьмем, к примеру, инфузорию туфельку. Эта, по сути, клетка, размножается удивительным для нас образом. Это даже не размножение в прямом смысле слова. Когда две инфузории встречаются, они объединяются, цитоплазма, ядра... нет, не буду утомлять вас подробностями, достаточно знать, что расстанутся две совершенно новые инфузории. Биологи называют это Конъюгацией или половым процессом. Так почему же мы, венец природы, не решаемся идти тем же путем? Только обмениваться не примитивной протоплазмой, а сознанием, подсознанием... (Фёдор промотал до слов) ...наши двенадцать добровольцев, молодых людей, которые на самом деле захотели двинуть вперед наш мир. Как всегда, оказалось достаточно простого желания. И при поддержке института мозга проект был запущен. К сожалению, ничто новое не рождается без боли. Все наши новые люди неизбежно потеряли контакт со своими биологическими родителями. Это, увы, неизбежная плата за новую жизнь. И все наши добровольцы готовы заплатить эту цену. Более того, уже заплатили. Сейчас они живут год, затем новая конъюгация. К сожалению, а может, и к счастью, остановиться уже нельзя. Один из добровольцев попробовал, и это стоило ему жизни.

Но даже несмотря на это, мы можем сказать, что эксперимент удался. В практическом смысле это означает, что мы теперь можем вылечить аутизм, шизофрению, и это только начало. Доказанное начало! Что впереди? А впереди — мы сможем избавить человечество от любых нежелательных психофизиологических аберраций с помощью нашего метода.

Задумайтесь. Каждый теперь может прожить сотню жизней».

Дальше были уже знакомые Фёдору фотографии, ссылки, пустое бла-бла и комментарии, которые Фёдор читать просто не стал. Так, глянул. Стандартная пена в пользу прав инвалидов и детей. Был выделенный жирным вопль, мол, тех, у кого дети, в программу не брать. По крайней мере, пока дети не вырастут.

— Ты думаешь... — Фёдор поднял глаза.

— Я не знаю, что и думать, — сказала Алёна тихо, — но мне это точно не нравится.

Они заварили чуть не пачку на заварочник, и все равно чай казался безвкусным.

Фёдор смотрел на Алёну и думал, что ни разу не видел ее такой осунувшейся.

— Родители ни за что не поверят, что ничего нельзя сделать, — сказала Алёна. — Не поверят и не смирятся.

— А если погубим?

— Не знаю.

За окнами снова бушевала гроза, но на этот раз, для разнообразия без воды с неба. Только молнии стегали горизонт.

Алёна сходила и почти силком накормила Варю.

Было уже совсем темно, когда зазвонил телефон Алёны.

— Алло, это Стас, — раздалось в трубке. — Скажите, то, что пишут в сети, правда?

— Не знаю, — честно сказала Алёна в третий раз.

— Дай мне трубку, — попросил Фёдор. Алёна протянула.

— Слыш, буратина, — Алёне не нравилось, когда Фёдор включал гопника, но сейчас это было уместно. — Тебе не нравится твоя жизнь? Хочешь попробовать эту, как ее... Конню... В общем, ты понял.

Стас на другом конце линии молча сглотнул. Вопрос попал в цель. Он не мог ответить честно, да. Ну, работа, ну, друзья и Наутилус. А он сам? А кто такой он сам? Биоприставка к серверам. Инфузория в тувельках, бессмысленная и бессловесная.

— Куда ехать? — голос стал хриплым, шершавым.

Фёдор назвал адрес.

— Сбрендил? — Алёна схватила Фёдора за плечо. У нее были черные, бездонные глаза.

— Нам все равно надо проверить. Если Вторая умрет, у нас будут проблемы по уголовные включительно. Скажи, вас на юрфаке учили прятать труп?

Некоторое время сидели молча. За окном играла в морзянку гроза.

— Света у нас не будет, чую, — сказала Алёна.

— Генератор заведем, если вырубится. Сейчас-то чего сидеть, пойдем к ней.

И они пошли. Отперли дверь...

— Ты жива? — спросила Алёна.

— Да, — Вторая не пошевелилась.

— Скоро приедет твой... друг.

— Стас?

— Да. Он согласился попробовать. Что-то еще нужно?

Вторая молча повернулась. Казалось, что глаза у нее светятся...

— Вы собираетесь?

— Да. Скажи, что-то еще надо? Ты же помнишь...

— Помню.

И она рассказала.

Говорить больше было не о чем.

Фёдор выдрал шнур настольной лампы и зачистил концы. Алёна принесла с кухни корбку рафинада и тазик с водой.

Над головой кипели на ветру кроны сосен. Дрожали осины подлеска.

Крупной дрожью било выбирающегося из такси Стаса.

— Так это правда?

Ему никто не ответил. Вышла Вторая, протянула руку. Было видно, что идти ей очень непросто.

— Уверен? — она положила руку на плечо Стаса.

— Э-э-э... Да.

— Пошли.

Фёдор и Алёна остановились в темных дверях кухни.

Вторая положила сахар под язык.

— Точно уверен? — снова спросила она

Стас кивнул и тоже взял рафинад.

— Уйдите, — попросила Вторая.

— Долго это? — спросила Адена.

— Нет. Минут десять.

Они сидели на крыльце. Алёна просто так, а Фёдор жевал жвачку.

— Давно хотела тебя спросить, помогаешь?

— Так не курю же.

— Но начинал, — сказала Алёна авторитетно.

— Пришлось. Время такое было.

Очередная зарница высветила профиль Алёны, сосны, угловатые силуэты построек.

Это было похоже на ракеты. Он это видел в Сирии, в Чечне. Он больше не хотел этого видеть и закрыл глаза.

— А ты бы согласилась вот так уйти, раствориться, чтобы стать кем-то другим?

Алёна задумалась.

— Жалко, — сказала она. — Я столько помню и люблю свою память, свое отношение к миру. И трахаться с тобой нравится именно мне, а не инфузории в тувельках.

Они увидели вспышку, но не над соснами, а в зашторенном окне комнаты Вари Второй, и не сговариваясь бросились туда, хотя это уже не имело значения.

На мне были лен и сукно,
А на ней,
Я поклясться готов,

Ничего не было.
Условным сигналом тактовый барабан
оркестра смолк.

Она коснулась моего рукава
И сказала: «Пойдем».
Или мне показалось?
Я догнал ее под фонарем,
Губы ее отвечали.
И я пил из нее
Забродивший березовый сок.
Так замешивал Господь земную твердь,
И увидел он,
Что это хорошо.
Постой, но ведь это я створожил Господа
Из сутолоки дней моих
Безликих и безымянных.

Ты начнешь понимать это,
Когда лицо твоё станет отчужденным,
как заборная доска,
Когда глаза твои станут, как дупла,
И ты увидишь землю безвидной и пустой.
И только девичьи косы качаются в темноте.

Итак, я догнал ее под фонарем.
Смеясь, она вырвалась и побежала —
я за ней.

Гулкими коридорами улиц я преследовал ее.
Сначала вверх до станции фуникулера,
Затем дорога шла вниз
Через проходные дворы и ограды.
Несколько раз я прыгал наугад
Туда, где только что белело ее платье.
Каждый раз приземлялся на обе ноги,
И она изумлялась искренно,
Что я все еще жив.

В подъезде ее не было света.
На середине лестничного марша
Она перегнулась через перила,
И я различил в темноте ее улыбающееся
лицо

И косы, которые качались в пустоте.
Тогда я подпрыгнул, чтобы ухватиться за них,
Но она уже бежала по лестнице вверх.
У дверей квартиры я настиг ее.
Губы ее не отвечали,
Она сказала, что позовет папу.

Что было делать?
Я спустился вниз.
Город спал и не смеялся.
Суда у пирсов потушили свои огни.
Я стал искать перекладину, чтобы разогнать
кровь.

И вот я запрыгнул,
И мир перевернулся.

Что сказал безумец в сердце своем
в то время, когда не думает никто?
Зала была освещена ярко.
Полина сидела за клавесином.
Папинька с маминькой предусмотрительно
вышли.

Надо было решаться.
Но он сказал:
«Нет Бога вне меня,
И нет меня вне Бога...»
И толкнул дверь с надписью:
«Это не повторится».

И вот санный путь, и звон колокольчика
стали его участью.
Это значит, ты произносишь:
«Я люблю тебя»,
и оконное стекло запотеваает.
Шелестом дождя тебя пронизывает дрожь,
и тебе становится ясно,
что кричала она не от боли,
но плакала она не от счастья,
нет, не от счастья...

Но что сказал безумец в сердце своем?
И кто видел куда
мчится его помятая «семерка».
Пола николаевской шинели
закушена дверью.
Блудницы омыли его божественное тело
и погрузились в чат.
Свечение смартфонов
сняло с их лиц погребальные маски.
Тогда он встал со стола
и, как был босой,
вышел в морозную ночь.

И вот снова
санный путь и звон колокольчика.
И снова я,
тот кто говорит это.
И снова ты,
тот кто слушает.
Но это значит:
нет ни тебя, ни меня.
Нет ни тебя, ни меня вне Бога.
И нет Бога
вне меня.

Псалом №2

Много поэтов в Перми,
Много.
Много поэтов в Перми,
Но только я законнорожденный.
Ибо в Светлый праздник Победы
Я один пришел в заведение «Вина Кубани»
И спросил себе полный стакан.

Когда вино было налито, я сказал:
«Верую, что сие есть кровь народа моего,
за многих изливаемая».

И все засвидетельствовали мне это.
Я сел у окна.
Люди мчались на дачи,
Везли маринады и уголь.
Я долго размышлял,
На какой глубине зарыт народный характер,
И где взять горстку пепла, из которой
возродится Феникс,

Пока не понял,
Что все это
Я.
Ради одного праведника спасется город.
Спасутся тысячи вокруг одного
Годного к смерти.
Таков смысл Светлого праздника.
Вот почему цветут могилы
И полнится песнями птиц
Душа твоя,
Лес.

Саша Андер

Дирка, сон и другие короткие истории



A long time ago war had raged on

На берегу Волги развалы храма со входом не фронтоном к берегу, но лицом к склону, по которому разливается асфальтом дорога. Две сохранившиеся по бокам канефоры в виде кариатид, поддерживающих портик. Две другие, что посередине, пали. По расположению не к реке, как стало замеченным, боги приходили со склона, с холмов, что продолжают дальше и выше дороги. Но первый выступ лестницы располагался там, где мы, проезжая на машине, наблюдали низ с царящим разрушением гранитно-мраморных воздаяний. Виднелся чуть ли не план комплекса постройки, сохранив отделения и выступы стен устройства с некоторыми колоннадами. А по правую сторону трехнефная

базилика, по левую же белые валуны и капители коринфского ордера, звенящие закручивающимися листьями, героон неизвестному, в тимпане которого рядом с ним выделяется надпись — калос. Сам же храм, в отсутствие крыши, без опаски раскрывал тайны алтаря и сломленных в коленях статуи.

Помню, как я обнимал руку Антона, подушечками пальцев глядя смуглую, загорелую кожу, то плечи, то ближе к подмышкам, к лопаткам. Какая-то встревоженность и выпуклость вен и мышц, которую и хотелось смирить собой, или чем-то, что как раз, может, и вовсе не ты и тебе не принадлежит (Сенека?), пока растворяясь шуршали разговоры, появляясь и исчезая под вечерним омовением ветра и солнца из окна, про уехавших из города знакомых, не смогших по следствию

этого своего поступка-уезда быть с нами и выбраться куда-то, куда мы и сами еще пока не определили — «на отдых», «на природу», «причал на реке».

Там большие валуны, между которыми галька и ракушки рассыпаны, навалены друг на друга, о которые бьются волны при шторме. А при смиренной погоде ласкающе омывает берег волна, проскальзывая между камнями. После вспоминается бывший разговор об одной занятой книге, сатирической; в ней о политике речь шла, описывалась, хирургически взвешивалась, как товар рыночный. Ведь сейчас не зря — политика в животах — общественное стало личным делом каждого, позицией и собственно «жизнью», а то, что было личным и интимным, обратно этому — самым что ни есть общественным. Без политики и интимного, без разграничения. Быть может, возникнет какая-то новая личность и новая политика.

Если вкратце, из того, что припомнилось, политики (те, кто этим занимается по профессии и получает за это зарплаты) между собой разбирались в животе у Меркурия, когда тот переправлял их по реке к Сатане. У Сатаны служащие в тот момент по книгам выясняли, каким должен быть он (Сатана то есть); люди пишут и думают разное, но так и не поставили в своем представлении решение по договору касательно того, какой же он «в самом деле», а поскольку Ад в своих (его — Сатаны) владениях расстелился «за земли необъятные и жителям невиданные», то лицо трибунала должно быть верным и оправданным образам (то жестокому, то милостивому... но главное — единому Царю всех земель этих или тех). Сам-то Сатана виляет хвостом и заигрывается, не определился еще со своим лицом и отношением к обитателям его владений, покуда и они не.

*Никогда больше не соберутся во встрече
они,
мертвые все, трепещущие о войне и крови,
голодные стоги изглоданных костей.
Никогда больше не прикоснутся они,
затхлые все, друг к другу не опошленными
чувствами,*

*даже среди гниющих растений и светлых
лилий.*

*В ночи по реке проплывет старик,
длинным веслом проталкиваясь
в бездонном потоке,
он напомним собой о Хароне, сказав:
«Проходите быстрее, нам плыть сорок
дней!»*

*В ночи никогда больше не будут живыми
те,
кто упокоен под прахом цемента.*

Над Сан-Франциско взорвался частный самолет такого-то олигарха: «Ура!» Так и сказал (как же его зовут? хм?) ...а! Данил так и сказал. А еще про одно слово. Но нет, не «война», а какое-то другое было озвучено. Это похоже на термин, из той самой книги; термин означает, вбирает в себя изречение «внутри либеральная возня». Но от нехотения слушать это я отвернулся за спину Антона, быстро заметив, что он делает какие-то махинации с телефоном по переключению сим-карты. За его спину по отношению к окну, рядом с которым он и сидел, из которого виднелся берег в закате дня со следами последних останков от храма, воспоминания о священном во мне, словно на ступенях миража, вылепленного из ностальгического настроения. До меня долетело, что что-то Данил сказал про трубы. Как сразу же Антон меня оттолкнул, панибратски отшучиваясь с Данилой словами: «Ты так не шути с этим». Трубы — возможно, это тогда, когда меня и оттолкнули. Не шутить с этим? С чем? И при чем здесь трубы? Могло бы наивно отдаться в голове, но по пошлой отнекивающейся мимике лица, по этому жесту, по отшучиванию между ними, мной было понятно, о чем Антон и при чем здесь трубы. Трубы, вновь и вновь трубы, словно проволока. Но меня уже здесь не было, я столкнулся с тем, который не нашел себя в этой ситуации, которая и сама для меня непонятна. Резкий жест, неловкое и вымышленное сравнение, оставляющие горький секундный ступор, а после и обиду. А дальше? А дальше стеснение, что и тебе пришлось об этом подумать, представлять, что можно и так, даже если и было не так. Все равно, вследствие этой «верени-

цы» с окислением обидой из слез. Ведь можно и так...мне точно здесь не место. Под молчаливым закатом уход к храму, на берег, пока не уехали далеко. Смертная завершенность чувств и взгляд перед открытостью к миру еще не настала — это вновь трубы сна бушуют войной. То лишь игра теней, и я в ней лишь тень, столкнувшаяся со стеной и другими.

*Предатель среди ваших любовей,
Кому вы требуете определиться,
Где и что он хочет от вас.*

...

*Здесь лишь цемент моих, твоих
Омертвевших ставок, через которые
и пытаемся про-жить.*

...

*Предатель среди своих и твоих,
Я дождусь тебя лишь для того, чтобы
вместе уйти.*

...Описать чистый лист, его чистейшую белизну и возможность слова между пробегами, молчание и тишину, в которых таится решение быть миру, жизнь на развороте — и вот через белый лист растет трава, на камнях зеленеет мох. Разлетаются первые бабочки, а по краям солнценеют одуванчики. Я слышу, как хрупкий голос, как хрусталь, сияет цветами живого. Выше радуги только улыбка небес. Нежная и заботливая, под ультрафиолетовым лучением. Как добро, всякое творение и особенно твое заботливое присутствие в моей памяти и уме. Но тут нет различия — память и есть ум. Я сохраняю его, пока не настанет беспмятство, в котором, впрочем, тоже сокрыто беззаботное и хрупкое. Остается только вернуться туда. На стенах и полках искусство полно жизни, даже если их эго ушло — оно приходит в нашем внимании, напоминая персиковым шелестом в оконном проеме, что то есть весть. Разве что мой взгляд из окна ловит слепое довольство, скрывающееся за мнительным достоянием. Но я отвернусь или обращусь к закату небу, покрывающему дома, что-

бы горькие слезы не затопили иную песнь. Я уйду в лес, чтобы сохранить равновесие и важное, что есть. А оно есть, только посмотрите и вспомните. Оно в трепетном касании и свободной груди. Стелется, объемля, теплым одеялом и нагой границей кожи с миром. Радость се райский дух, что соком блаженства напоит. Поит и двигает мировой циферблат, рекою изливаясь в нас. Будем в нем равными Богам, без удушья в слезах. Найдем свою постель под кронами деревьев, и станет телом земля, голосом птицы, взглядом листва и памятью детский сон о саде, где вражда растворилась под разлетающимися локонами полей. Я не буду пить до потери сознания, я опьяняюсь тобой, ты знаешь, и мне больше не нужно, ведь и боли больше нет. Как в Аркадии, давай спрячемся среди цветов? Лютни с черными дроздами подпоют великую песнь мира с нами. Ночью нам будет сиять мертвый свет дальних звезд и изогнутой иголкой Луна, а утром животворящее Солнце. Поцелуем в шею мы проснемся и станем, возможно, как Гиппархия и Кратет — вся земля станет домом, как и было всегда. Мы станем больше и сильней, чтобы смогли мы путь указать, который и сами нашли. Самое важное трепетает и зовет. И вот — тепло возвышает к жизни блаженной. Удержим же и не отвлечемся. Гладкая река и млеет душа. Музыка сияет цветами. Цвета звучат. Никакая шальная фантазия не сотрет это и не приблизит. Закрой глаза, и вот оно — вновь, самое настоящее...

Дирка

Виднеется даль, где посутся козы и там овцы, каровы там, что клюют траву и жуют ее а над ними нависают белесые облака, настигающие друг друга и перекрывающие друг друга. Под ними пастухи и постушки, в одеждах, испещренных дирками, но в их дыханье — любовью отдается природа, чистая как ручеек под свежистью витера, вздымающие их волосы. И ничегошеньки больше нинада. Пакой.

Ти гаваришь мене что я ни правельно гаварю и абращусь к тибе, я панимаю. Ти уми-

нее меня в тисачу версть, но я проста хачу бить с табой искрящимся искриним. Ти понимаешь? Я мог би обокрасть все те стихи, которые ти лубишь. Но разве магу падарить их тебе, будачи украденными как каканибудь груша или лаза венаграда из сада? Я атдарю тебе все.

Виликая Матушка слепила нас из глины и вдунула в лица дихания жызни, и стали мы живыми. Мая Ма сказала мне кадата, шо бижать мине стоит, мальчик сказала она, бижать к радному. И тибя она выбрала, я знаю, как по тродиции. Ти ей панравилаь, хотя и нет ее уже. Но она всигда рядом и памагает мине, и тибе, заботясь.

Ти умная, Розочка мая. Какта ти мне возразила и прова была. Я сказал, шо дважды два — чытыри есть смерть, а пять никада ни будет, как би ни хатели ми. Ти же сказала, а шо и если дважды два — чытыре и ето ище не все. Ти права, как всегда. Ето ище савсем не все. Ведь есть ти. И буду я заботится о тибе, ведь ми обручены нашими дирками и окурены ладаном и шафраном на поле.

Сон

Я не хотел бы никогда таких снов, но это сны других — одних из героев моих же снов. Больно видеть такие сны, они лишь шум, родившийся из шума снов других, заражающие просачивающимся письмом, а вернее, гулом, который переложится на него. В них ничто не приведет к разгадке, ни на чем нельзя оставить свое внимание, иначе мы прогадаем. Я избегаю сна в своем же сне.

Бессонница, предоставляющая исподволь время для записи горящих слов, что воздадут жертвенный пожар и разожгут костры. И строки во сне, словно сторожевые холмы: виден хорошо дым, но без хвороста и огня, сигнальный, окутывающий все собой.

— Но, милый мой, бессонница ужасно подло влияет на твой организм.

— То есть ты предлагаешь...

Уснуть, под светящиеся огонечки, мерцающих расходящимися кругами водной ряби, и попасть туда, где тебя еще заворачивают

в белое покрывало с рисунками голубых слонов. Чтобы после, уснув во сне, не проснуться под синевой неба ранним утром, когда еще обуздывает прохожих, а особенно лежащих с перепоя на земле, или в ином состоянии, хладостью. Синева цветом слонов на покрывале, укутывающая ребенка еще, сомкнувшего очи свои вследствие вожделения естественного, заточается проволокой колючей, намотанной на коконе, в котором заснул тот ребенок. Он уходит в другой сон так же, как и пришел в него — под детским покрывалом с рисунками детских слонов. От прикосаний губами к грудям матери до грязной пробы плоти своей в компании неизвестных ему, как ему до рождения не была известна и мать, но лишь, когда уже... свершится и предстанет под покрывалом младенческим и проволокой колючей обтянутый, испытал то, что положено было. Но дальше другой сон, а ему венок к земле, гвоздь в лоб, губы омочить молоком скорбящей матери по ребенку своему, иконку к груди, на теле лучший костюм школьный, любимый, машинка в кармане и тетрадка с записочками и рисунками с ним, во внутреннем кармашке пиджака, свернутая в трубочку, через которую он смотрел в окошко, высматривая летящих птиц.

Но вот он, быть может, проснется еще маленький, говорить не может, но ползать уже умеет. А вот и рисовать умеет, но пока не говорит, лишь рисует солнышко, облачка, домики, похожие на шалашики, с садом, а на фоне них человечки — палочки и улыбающиеся кружочки. Они сами и есть шалашики, а домик — это солнышко. Солнце светит, кружочками разводится и лучиками к человечкам смеющимся проникается. Смеется ребенок, заливается, задорно и трепещущим голосом недавно только рожденного, задыхается. Дыханье приостанавливается, солнышко расходится ярким светом, окутывая под заливающийся смех ребенка. Тело коченеет и, кажется, обездвиживается, но солнышко играется лучиками по голоску ребенка, смеху его, освещает и заливается: солнышко, домик и человечки, похожие на шалашики. Возносится смех, словно кинжал Авраамовый, но над еще не рожденным, бликуется лучиками.

Дыхание, лучики, солнышко, человечки, домики словно шалашихи, солнышко — лучики, человечки — дыхание. Убывает. Просыпается.

Стоит над собой и видит, как уже не маленький лежит. Да уже видно, что покончено все, доверившись ответу Силена о счастье человеческом, трагическом. Тело бледное к земле склоняется, вокруг знакомые и родственники. Беседуется с ними, делать же что-то нужно с телом-то. Вызывают, списывают, чтобы уже вынести и не заносить никогда больше. Бледнеет, температура упала сразу же, глаза побледнели и словно окаменело оно все, сначала. Уже ни мягкости, ни век открытых, но только впавшие яблоки, вваливающиеся щеки с крыльями носа, черные пятна и прочее неинтересное, если бы не ощущалось при этом, как все разлагается и отказывает. Красные искры быстро носятся по потолку, или уже по темной глубине, а то, что еще может сжиматься и разрываться — то так и происходит. Приостанавливается, улетучивается — но одновременно и задерживается тем, кто над своим же мертвым телом стоит и проникается ощущением откалывания ощущений, закапывания их. Что-то выносятся, стирается в этом сне, без возможности записи, лишь имя и тело, которые к помоям стоит отнести, остаются до порога временения. Без истерического припадка, когда уже не в чем убеждаться, но остается лишь претерпевать собственное разложение, предоставленное к тому же явным образом. Без «так или иначе» оно происходит, он наблюдает, как его тело, хилое и еле держащееся в целостности, как только покачнется голова набок в катафалке на неровностях при движении, не его собственным оказывается, не поддается приручению. Гаснет зов, зов по уходящему. Без всяких сожалений и всякой известности обстоятельств, оно мертво и опорощено самим собой, беспрепятственно допустившее к себе, надругательством. Дальше только клякса тления на простыне, люди вокруг и он сам в том числе над телом своим, разложение чье переживает, что даже притронуться к себе не может и двинуться, но смех лишь из себя проносит, тот самый, смех ребенка, заливающийся. И лишь единственный во всей сумато-

хе, виновником которой и был же сам, проявил внимание к самому угасанию, угасанию и расслоению: от тканей и органов до взгляда, голоса, слов, мыслей, образов, звуков, мельчайших частиц. Неважно, что происходит с ним сейчас, в его тоске, радости, любви, ненависти, хотя и очевидно, не они одни по отдельности, но все как бы разом, в чем-то неопределенном, неразборчивом, неожиданном, влекущее за собой разносящийся смех к ночному небу, усыпанному звездами и яркой луной, вырвавшийся из заточения. «Я ничего не знаю», — сокрушает все вокруг и приостанавливает дыхание в разрыве сердца, гниении внутренностей. Было ли это после или ранее, чем... неподконтрольность тела, смакование кожных покровов, вбивание мелких и крупных кусочков асфальта в поры и раны лица, фабричная давка и прессовка костей... и проволочка. Откуда и зачем она здесь? Потом, кажется, ее попытаются связать с опорожнением и разрывом органов дыхательных путей, рассечением клапанов сердца. Запекшаяся кровь. Он не вспомнит. И может ли он, когда все связи демонтированы? А он все вспоминает, как смотрел на себя в комнате поодаль, из-под вуали занавеса в блеклом свете, просачивающегося через облака. Зачем же, если все равно уже не проснуться. А быть может, и он сам этого хотел, наконец убежать от того, кто был кем-то и когда-то, кто пристально смотрел. Но нахлынет поток смерти, так вырви же живость свою, чтобы ей написать и то, что распаду придется.

Письмо

Слово исчезновения звучит. И с такой легкостью он отказывался от записи слов. Всегда находил увертки, отговоры. Ложился спать. Он хотя и позволял себе совершаться мысли и образности — вот это он никогда не мог остановить; даже говорил, мог ляпнуть, но и не всегда вслух, за что про себя извинялся и за эту пущенную в оборот грубость сожалел. Вел беседу с кем-то, лепил и вымаливал словами молчание: с мертвыми, с еще живыми, всегда живыми, с воспоминаниями, с назы-

ваемым им Антонимом, или Двойником, что кромсает во снах зубы и заставляет их промалывать — противоположностью, тотально интимной и прилипшей тенью содержания всякого опыта. С тем, с кем он договаривался или, быть может, вступал в борьбу, чтобы убежать, струсив. «Бежать от письма». Бег, равный удиранию, драению, рванию волочащимися костями, что есть ноги бегущего, и когтями, раздирающими ткани действительного языка, который оформился и просочился. Бегущий же в своем рассыпании, распадении, разрываясь и сам, несется от собранности. И все идет неправильно, ибо в бегстве его разрывается плавность самих вещей и их хода в жизни. Эксцентричное, опасное и ненавистное движение на перебой, забой через ускорение к неминуемому концу, через него в самое начальное — где письма уже нет и никогда не будет, оно в своем возможном не претворилось самой возможностью, но замшело испустилось в уничтоженности, противности творения и невозможности. Жизнь, которую мы никогда бы не узнавали, не знали, не встречали, не жили ею, если бы не движение письма. Письмо — это больше, чем выпуклые или тесненные буквы, звуки... за ним расстилается бездна молчания, на которую мы оглядываемся с тоской и ужасом, прикрывая несущемуся вдоль и поперек производимому шуму из бредового сна, к которому склоняется привыкание. А соответственно и сны, и образности «жизни» и «смерти», пока на пороге, в голове, до конца бодрствования, играет, звучит и побуждает в ритме стены содрогаться: «Смерть обнаженная балерина: танцует, танцует, танцует». Танцует, пируэт, танцует, пируэт, танцует, пируэт. От сна ко сну, от письма к письму, все оно о движении.

Но он научался письму (знай врага в подробностях), хотя если и обращался к нему, то только в малой форме. В оскорблении же слов и сам обижался, вздувался от гнева к себе, но, чтобы не совершать показательной агрессии, смирялся с уготованной им самим, но по его-то — кем-то Другим, какой-то участью, призывающей забыть себя, других, всё и другое, слова. То ли тешил, то ли пытался убедить себя, что на большее не способен,

оговариваясь, что не хотел и вовсе писать, записывать вслед. Хотя для него, а для нас это видно со стороны, и была особая значимость: описать, зафиксировать все то, всех тех, что исчезали из виду, забывались, терялись или под его пристальным гнетом умирали, чтобы он смог вступить с ними в контакт, прикоснуться к ним. Все это оборачивалось в какой-то момент, как будто «вдруг» существенной потребностью. Но к которой он боялся подступить, всегда внушающей трепещущий страх — позволить записать. Он говорил, что не мог, и уходил, прикрыв рот. Но почему столь многим удается захватить, присвоить множество слов, влекущих к формированию предположений, переходящих в речь, текст, жест, но тем не менее распадающихся на звуки, несущихся посредством гула от невозможности умолчать самое себя. В конце концов, люди оправдываются, но мы продолжаем ничего не делать, поскольку и делать некоторым нечего. И все же это другое, не то. Исцарапывает, прорывается как крик, его крик — Иокха.

Видимо, это тоже было одной из сторон мольбы о забвении. Не дать письму быть, заключить в кандалы речь, сославшись на невыговариваемость, чтобы только не написать те самые слова, все то самое — вкривь прокладываемая попытка снести значимость, присутственность значимости слов, самих слов. Ведь они ничего не описывают, не трагируют, ничего так и не касаются, самое важное в угасании языка, его убывании. Либо в этом он лишь насмехается над собой? Над этой парадоксальностью, в которой язык если не порождает мир, то сам им является, но не могущий захватить ускользающее. Подбирается, осваивает, но как только проговаривается, то сразу же теряет — необходим другой, который прочтет эти строки, чтобы поддержать и сохранить то, что до этого наивно полагалось закрепить языком, как будто он есть лишь средство, клей, сетка.

Однако в этой погоне за сокрытием письмо еще более прежнего шумит цепями, в стремлениях вырваться наружу, обросшее деталями, событиями, соотношениями, укореняясь с природой мысли, или, вернее, жизнью. Его уже сложно остановить. И в ночь он может

вскочить, чтобы записать, только бы не забыв, а поутру разорвать все и выбросить — многое оказывается неправдивым, уродливым и недосказанным, но уже поздно. Все становится слишком поздно, хотя и складывается где-то в памяти, но не для строк, а для чего-то другого. Всегда для чего-то другого. Непозволительно под запись. Остается лишь уповать на забывчивость, чтобы ничего не сделать — не то, что требует своего внимания. Не для чего оно все и припоминается.

Письмо, даже если и меж строк, остается в своей раздражающей невысказанности. Его раны начинают загнивать, издавать стоны и мерзостный «аромат», что и просачивается сквозь пальцы, прикрывающие рот, чтобы не дай Бог... Как раз тогда он и начинает все путать, используя слова для указания кровоточащих ран. Замыкается на себе. Вместо того, чтобы позволить выпрямиться и выздороветь письму, он его старательно гнобит, стараясь избежать уловок со стороны, которая не прочь подкормить его язык, внести такт, стройность,

обогреть или, наоборот, остудить жар. Затывает ли рот себе, сожалея об уже вылетевшем слове из уст и не доведя до его полного раскрытия, или уничивает язык, который ему дан, не допуская гибкость, фигуристость — какой-никакой, но свой изящный стан. Письмо выцветает, блекнет, истирается, замолкает, покрывается, скрывается, раскрывается, меркнет, светится, пугает, радует, рождает, умертвляет, вздрагивает, безумствует, расточается, изживается, проживается, живет, выживается, отдаляется, приближается, накручивает, исторгает, трогает, замедляет, убыстряет, набирается, пополняется, сживается, примиряет, дышит, ходит, пасется, сеется, рассеивает, спасает и спасается, вводит и отводит, раздается и раздаривает, возжигается и возжигает, охлаждается и охлаждает, воздается и воздает, одаряется и одаривает собой. Оно становится собой, письмо и будет собой вполне. Оно есть все, за ничьим столом и стулом, за открывающейся дверью. В нем решающее слово, письмо и есть то как...

Владимир Бекметьев

ЪБ



Маше

Объятие-Откровение

[Пролог]

Объятие огненными ходульными руками,
над ним радужно-веерно фантов.

В рамках сладких увечий:
маньеристический портет, присажены и пристыжены горящие снопы,
соломенных кобылиц, руки — то ноги; голова — бердянка с высыпью пульей;
в животе — механическая мякина — баррель орган сайфер-пиликаньем.

Правой Объятие наступило на море, левой — на землю.
Без локализованной сыть-головы, выше руки от вод
и земли, шлёпает и — Стоп-Арка
вязнет, стынет и Арка для —
триумфаторов прогрессивки,
подъёмщиков хабара красивого,

лордов уникального исподтиха,
чьё лихо кичится

на плесневой фате/
в девятках капюшонов

Объятие замещая, *их* Вирджина шершавой гривой касается.
Верно: военно-полевая дева пропускает через себя сотни отпрысков,
но никогда не знала мужского прикосновения, опреснения
бормочущего водворения.

Дети, они оппоненты, сфабриковали связь пуповинную её нити —
лавинное-видное в лабиринте.

Выбрались, и Дева-забота попирает дерево, приламывает ветвь,
прихрамывает в поддержку гибридных детей.

Раздаются некие птицы в медовой глазури
на Празднике Священного Хорошо — они как
отнятые жесты экзальтированных глухонемых,
как требовательно обломанная ветвь берёзы
пастушкой (кадыковой) механических плев.

Но дети, ожесточённые, лежат на пажити, джемовые ожерелья,
на привнесённых платформах жжённых тостов. Свет штырит,
Терминатор Т-2022, продвинутый Световой Человек (?).

Объятия Рождение

Вещунья высасывает воздух и перемещает вас в конуру,
лицами в каски-миски, молитвохлёбом в хлев щенячий,
где осел как кобель, а овен — сука.

Старик Иосиф открывает дверь и оценивает: волхвы треплют Объятие,
появившееся между родительским и детёнышным,
а мать-инфанта помещает Объятие в покрывало своей головы.

Иосиф — иллюзионист — в округе он арендует семь хлевов,
но Объятие вышло лишь в одном восьмом, даже он тайне удивлен.

Иосиф — ловушек царь, поэтому, когда Объятие подросло,
схоронилось за камушком на сердце.

Прекрасная рёберная сеть, ласковый пот-кисель —
Объятие прельстилось этими сокровищами

и начало шебуршать в разных домах,
коучеров-империалистов.

У нас тогда только выросли руки, рука в руку — мы падали — лбы.
Распашонку смирили в кулак.

Любовь кулаками высеивается, а выходит Растопырка Лекарственная.
К сожалению, в это время одна из гибридных собак может кричать, может издохнуть.

Что ж и Объятию пора выходить, но пока ещё в школу.

Искушения Объятия

Объятие замуравлено и падает в долгие коридоры растущих,
но также окрепших — обыденного рассудка — труженики ходят,
с отравленными свечами на холках, лишь один праздный крутит
нимб-хулахуп, лишь другой — многолапая жучка — Объятие отчуждает —
копиист тростевого роста, испускает кружевные-гнилые Лаи — Шарманка

на за́говор за́говор заговóр за «вар-вар»

твоей розовой орхидейки

бабушкиной хандры в супах

чёрной петельки громошейки

белой метельки

это заговóр

я пла́чу из розового — это задевает,
дева, девчура

нос пухнет

Библия от Евы пухнет — это А, не будет адом абез абь юз домный
длинный путь из варяг во врётница из домны в инцесты-кинжалы,
проникающие в жары с плавкой love дитя Лая

привороты к чёрной муке
в котомку с ломкой зубов
липкий болтун поцелуя — скрэмбл
скрепя в себе яппи клюем до истомы друг друга
а потом сливаем мёд проникновения в соты летим

это за́говор

врозь — ёрзать

Это выговор дощатой котомке X автоматизированными стенаниями
крейзового дитя Лая.

Это жучок-паучок на дохлом органе играет
пешими лапками на крейсерской высоте трав.

(А)стожный Эдем.

Тёмная ночь Объятия

Луна блазнит заразным обмылком, и поэтому неуют —
словно ковырнул штору.

Ходьба новоночальной окалиной, бенгальские огни в люверсах;
мы — пылающие когтеходцы с тигриным шабуршанием нищих на паперти,
как на окурочных плотиках светляки.

Дьявол-велосипедист вспарывает ночь, чтобы мы ужаснулись
ифиопской личине ходкого камня-парня, бисьей босоте,
но мы просто намеренно зажмуриваем свет,
чтобы щупать чуть кости.

Со вспоможением града яблок, ясно, что здесь четыре руки,
парадная тела не боится щекотки, а хибарка дрожит,
будто внутри в салки скачет повешенный —
быстро сваривается каркас быстро,
накидывается няшный плед.

(Первое поколение вертикали их общественность утверждает,
защиты от ветра в
чеканные шали
— таргеты — вонзится несусветным столпом.

Объятие репрессирует столбняк. Падает щеколда:

вход в закадычное время

парированный донат особого назначения;
фас, наполняющий хаосом озадачения;
шпагат для подземных гнезд изучения

малой зоны дуэлянтов контаминации

более

я не могу

мужской идиомой,
но сопричтены в [спринт] твои губы могу я уже? —

теряющие подкидыша [паки и паки дышу] [how more hore mow]
и пьют из коленной чаши
рты явно многие [моногамные, или]
рты у одной, тронь, в мятном хлад-паре
я не могу!

точность шеи строение аммонитовый corpus гибкость
гамбитного происка отказано прямостоящим ей
можешь
пятнистой метраж спины слизнями.)

Жонглёр — всегда разведчик в цирке
приклеенных, прижатых, ты-ж-моё-я.

Мы так долго отнекивались, что забыли
даль, дабро, дату постройки нашего дома,
осталась только *датура апертура*.

Объятие 1 пожаловалось Объятию 2:

— О-хо-хо, у меня опухоль,
«узри грязь тела, которая тебя привлекает»,
возьми смелость слёзистую и ощупай мою грудь.

— Но... нет, Объятие существует:
без смазки-подпитки,
без патоки гнойной,
без гонорара гонореи,
без низовых язв,
в конце концов, без сосцов,
похожих на дряблые кольца лука.

— Ни звука!
Слушай: танцуют вши-путти,
кровью укоренённые в наших волосах.

Утро Объятия

Объятие 2 открылось Объятию 1:

— Наступает утро. Жара-коновод: пыль-табуны — инвазия в городе.
Взять «осанну» из крекеров-стен, из пепельниц-окон выпотрошить;

дышать «спиртом» в парке, когда сонм ангелов предается игрищам,
перенимая эстафету у пожегного в судьбе пуха, в бирюзовом небе.

Ангел-Блюститель сталкивается со мной лишь в присутственных местах,
протягивает ячеистую ладонь с ключами, с кольцами кандалов:
лишь ему нужен расцветок фейерверк, куриозы — кризисно. Жарко!

— Достань из инвентаря Брикетированный Холод и Гранулированную Разлуку,
двигаясь прелипкой долгоговоркой сытого падальщика:
«слепня слизнуло в зазимовать — взаимность, пелена, снуло».

Его — в холодное брюхо века-глетчера.
И тем, и сем временем Царь Вершин,
Реваншист-VELO сам пуляет снежками-шершнями.
Снова и снова происходит грануляция отродий
и подобия швыряния сыновния.

Наступает утро, триумфаторы-поливальщики обмывают Объятия,
лёд растаял, да и гнус оравен да хороводен в слюне Хама.
Обнажающей.

[Интерлюдия: Хам.]

*Распустив слюни в женственность, дубль потопна,
икотой, растягивая ялик со спящим контрабандистом —
чьи ятра не раздавлены, не разбиты, не оторваны, не вырезаны,
но и не сокрыты, чтобы дистанция взгляда придавала зрителю роль жонглёра,
Хам протестует против Объятия.*

Только тебя арестуют.

Будут мять
жать топить
кости тать на сносях

Ты признаешься: наш плед будет тебе епитрахилью.

Только не переживай: режим — не жених белозубый мне, улыбок.

Вспомни, я сама, как дом без фундамента.
всё это роскошь, осталась палатка: забрать стрекоха в ампирном забрале.

Это осталось чуть щупать воды — в склянице, что носила при темени, как палец,
присовокупив к царственному венку — пот притворный отирать,
смешанный с кровью, inferно, чумой и уриной.

Придется переночевать здесь, пока они не пронюхали хатку.

Да, нет фундамента.

Зато есть смех на качелях/ кач на смехах стародевических.

Наступает утро — важно, но «кротко как голубь»,

Чтобы всецел тебе по лбу — из кулака кадить, расталкивая щелбаны запахов:

чернил ильный,

водорослевый,

солёный от прикуса,

тошнотный от чужой пригари,

почему-то устричный — горный.

Нет разъединённости.

В расстрелянном верностью песке победа = ничья.

Воскресение Объятия

За ночь металлический панцирь замкнулся. Какие-то пришлые усыпляющий инструктаж получили, усыновив, усестрив, умертвив семью, прежде егеря, в балаклавах и снудах (чтобы не было видно: валики вождения и волнения губ, растопыренные носы).

Что если они смотрят сны, наши,

расталкивают воспоминания на топчанах, на началах,

ежистыми колокольчиками, напильниками-волчатами?

Вскрывают забрало.

Моё сердце сопит в кулаке

и псица твоя клещает —

в воздух-госдеп.

Вскрыли забрало и там только ногти обгрызенные,

ресницы выщипанные, бинты макабр танцующие,

чешуи-ошибки, затылки-сомнения,

темпоральные петли и уздечки,

монеты, чтобы по аверсам определять важных сего,

мертвые насекомые, много мертвых насекомых.

Ищут Объятие. Говорят Егеря:

«Встаньте дети, одиноки и теребень,

рептильные недотроги

в солнечной берлоге будете,

объедающиеся птичьим бременем
— петь, мы защитим вас от вепря.

Вровень со взрослыми, но выплевывая
рамсы птицы. Отроки и отроковицы,
рабствующие до сих игр в половицы».

Само «петь» опетеливает или опетляет горло,
апеллируя к конструктиву силка, и курирует
мortalный всхлип; пирует плевками —
рот хамовитой хвальбы,
в роли мать-города,
матрополии.

«Мы малый народ этой комнаты» встречает фразу
«Вровень со взрослыми»

Тишина. Объятие?

Пожертвовать устойчивыми структурами пира,
к тому же безусловно простить

(вопить).

Праздник Объятия

Послание в водостланном гробу, склизкие глоссы водяных червей —
глянцы «живых волос» — распрямляются в копыя, хотя много талой воды —
шуточки «вечного льда» — взмок последний колтак — вздохи на льды,
но снастился клыками-копьями, в нужде рыбок ловить,
костяных водомеров сувоя сотник словить,
просовывая живое копьё в Евину плоть

— кость да не сокрушится.

И губастый тонет (топить и тонуть): водохлюп?

Совсем нет — вынужден в рот на замке, реторта на пробке —
мальчик в бочке, в брюхе вопит ледоруб, на баррель барабане просит
Лонгина выбросить пику — убить, мальчик сможет играть-смеяться и «грабь» прекратить,
а святой сеяться зубами на *Колхиде*, колкими лобызаниями центуриона ремонтировать
ехиднин порядок.

«Это такой порядок, — говорит транслятор,
наблюдающий за мучениями обледь-люда. —
Такое вот дельно».

Катаклизм? Или добывание прищура в воззрениях бури,
историческими мальчишками?

«Я просто перевожу карты с крытки в руинированных манекенов.

Кто *их* Обнимет, почеловечит? Почешет за лёгким? Пошелушит лучиком?
Пригласит в кооп ретивый?»

Ребенок перебивает: «А теперь все танцуют!»
Левиафан проглатывает бочку — наводняется,
транслятор со свертком объятия рапортует:
«Ваши страдания отменяются».

Но, пожалуйста, подождите

«подождать».

Семен Ваксман

Папа, это я

(фрагменты романа)

Писатель Семен Иегудович Ваксман скончался осенью 2021 года. Он родился в 1936 году. После окончания геологического факультета Московского нефтяного института занимался поисками и разведкой месторождений нефти и газа в Приморском и Пермском краях.

Его писательские интересы были связаны с историей открытия пермской геологической системы, с пребыванием на территории Пермского края Мурчисона, Чехова и Пастернака. Его роман «Я стол накрыл на шестерых» об Ахматовой, Пастернаке, Мандельштаме, Цветаевой, Маяковском и Есенине вошел в шорт-лист литературной премии «Антибукер-2000» в номинации «Четвёртая проза».

Над книгой «Папа, это я» Семен Ваксман работал в последние годы жизни, но не успел закончить рукопись. В 2019 году начало первой главы было опубликовано в журнале «Вещь».

Семен Иегудович назвал жанр этой прозы «документальный роман». Он посвящен судьбе его отца — Иегуды Шахновича Ваксмана, рядового 140-й стрелковой дивизии 32-й армии Резервного фронта. В октябре 1941 года он пропал без вести. Скорее всего, Иегуда Шахнович погиб к западу от Вязьмы, на Богородицком поле — сейчас там Поле Памяти.

В этом повествовании чередуются воспоминания автора о своем детстве, юности, отрывки военной хроники и дневников участников Великой Отечественной войны. С разрешения наследников публикуем фрагмент книги «Папа, это я», который предваряют воспоминания о Семене Ваксмане писательницы и его друга Нины Горлановой.

Редакция

С Семеном Ваксманом я познакомилась, когда собирала материалы для литературной энциклопедии Сергея Чуприна «Новая Россия». Кажется, это был 2000 год. И мы сразу стали дружить семьями.

Сеня на днях рождения говорил волшебные тосты, и мои дети тоже его полюбили. А затем — его жену, после — его сыновей. Тимур подарил мне первый комп, Саша помогал по немецкому дочери. Я отдаривалась сиренями (натюрмортами).

Когда Тимур заболел и его увезли в столицу, в день операции Сеня не мог оставаться дома (жена уехала с сыном), он приехал к нам с внуком, и я их кормила-успокаивала...

Он безумно любил внуков и завещал похоронить его возле дачи, где с внуками кричали: «Деревя, вы наши друзья! Мы вас любим!»

Потом, после похорон, Сеня в гости приходил с большим фотопортретом сына в рамке... без него не мог. Мы ставили портрет на подоконник и все понимали. Молились, хотя сам Сеня уверял, что он атеист. Но дома у него висели четыре репродукции «Троицы» (на кухне и в комнатах).

Дело в том, что он — москвич и однокурсник внука отца Павла Флоренского. И однажды в Третьяковке увидел, как тот стоит перед «Троицей» — час, второй...

Потом этот однокурсник написал в столичном журнале рецензию на книгу Сени о Мурчисоне.

Да, Сеня — москвич. Отец его пропал без вести в 41-м — под Москвой. Когда его провожали на фронт, цвели липы, и с тех пор пора цветения лип давала Сене иллюзию присутствия отца...

Он уехал по распределению на Дальний Восток — мечтал увидеть утку-мандаринку. Геологи — люди разные, там один показал утку, хрясь ей по голове и говорит:

— Тут и есть-то нечего...

Зато там Сеня встретил жену Свету, с которой ни разу не поссорились за 50 лет.

Он все время давал мне ценные советы:

— Назови «роман-монолог» — премию дадут (я хотела просто — монолог).

И дали премию в журнале «Знамя».

Поздравлял каждый раз с днем лицеиста — романтик был.

Его не сразу приняли в Союз Российских писателей. Тогда я поехала в столицу и выступила на приемной комиссии — читала его стихи. Все прониклись.

Я сама все время проникалась. Мы часами о Чехове говорили по телефону. Иногда я иронизировала над романтизмом. Сеня говорил:

— День рождения Лины я хочу устроить на даче. Мы выйдем с электрички на одну остановку раньше...

— Да ты что!

— Пройдем по полю три километра.

— Ну ты даешь!

— Перейдем вброд речку...

— Лина с ума сойдет.

— Нет, мы еще в гору поднимемся — через лес.

— Через лес? Там она тебя и убьет.

— Ты не поняла: так Кристина шла на свидание на ферму.

А Лина писала книгу о том, как Цветаева любила «Кристину, дочь Лавранса»... и она дошла. Потому что — как Кристина!

Но когда выехали с дачи обратно, она вспомнила, что оставила записную книжку... и пришлось повернуть обратно. И Сеня ее не упрекал.

Не так давно он спросил: «А внутри сколько тебе лет?» — сорок четыре.

— Да ты что? А мне девятнадцать.

Нина Горланова

Александра Алексеевна Кузина всю войну оставалась в Москве, в полуподвале нашего дома номер 8 в Колокольниковом переулке. На ночь запирала парадную дверь и черный ход во двор. И наша соседка по квартире баба Ружа — Рухля Цинаевна оставалась в Москве. Она аккуратно оплачивала «жировки» за нашу комнату и тем спасла ее от захвата. Она сказала: «Никуда не поеду, буду ждать сына».

До революции нашим доходным домом владел отец бабы Ружи. Он вырвел для бабы Ружи с сыном квартиру №6. Ее трижды уплотняли, но в конце концов Руже оставили самую большую комнату с пианино.

Папа сумел обменять четырехкомнатную квартиру в центре Ставрополя на десятиметровую комнатуху в шестой квартире. Там жила актриса театра имени Вахтангова Анна Орочко.

Сын бабы Ружи Лева работал в зоомагазине, о котором есть стихи Агнии Барто, будто про меня написанные:

*На Арбате в магазине
За стеклом устроен сад,
Там гуляет голубь синий,
Снегири в саду свистят.
Я одну такую птицу
За стеклом видал во сне,
Я видал такую птицу,
Что теперь не спится мне...*

Левушку взяли органы за анекдот о Гитлере. Будто бы тот выбросил вперед — вот так! — правую руку: «Вот докуда может допрыгнуть моя собака!» Говорили, что Лева получил десять лет без права переписки. Известно, что это значит. Но баба Ружа ждала возвращения сына.

Она разрешала нашим довоенным гостям танцевать в своей комнате. Дядя Лозик играл «Полонез» Огинского. Играл и, как всегда, плакал.

По глухоте и темноте баба Ружа не могла до конца вникнуть в бабьи разговоры.

— Я думала, нам на помощь идет с юга наш армянский генерал Гудерьян...

— Тише, баба Ружа, тише... Посодют глухую тетерю... Как пить дать посодют...

В 1962 году закрывали нашу Суйфунскую партию, которая несколько лет безуспешно вела поиски нефти в одной из межгорных впадин Сихотэ-Алинь. Куда бедному геологу податься? Варианты: Бухара, Оренбург, Пермь. В последний раз я с другом своим Вадиком Тихомировым отправился искупаться в Спортивной гавани Владивостока. Листал приличный в ту пору журнал «Молодая гвардия».

— Что читаешь?

— Рассказ с сентиментальным названием «Останутся воспоминания».

— Кто автор?

— Какой-то В. Астафьев, город Пермь.

Прочитал я рассказ этот безотрывно. Совпала печаль, разлитая в нем, с нашей тревогой о будущей жизни. На фото парень в белой рубашке с отложным смотрит прямо в глаза.

Загадочное слово «Пермь» и имя Астафьева всё решили. Позже я узнал, что слово это древнее, на языке вепсов значит «дальняя земля». Аркадий Гайдар, одно время живший в Перми, назвал свою повесть «Дальние страны».

Однажды в Перми я попал на «Вечер одного стихотворения» в Доме журналистов им. Гайдара. Выходили на трибуну местные поэты и люди из публики. Среди других вышел средних лет человек с лицом тертого шофера. Таких часто можно встретить в трамвае, в мехмастерских, в очередях, на зимней рыбалке, у заводской проходной. Представился: «...служащий». Фамилию я не разобрал.

— Я прочту стихотворение Джеймса Клиффорда. Он погиб в сорок четвертом году в Арденнах.

*Сижу в кафе, отпущен на денек
С передовой, где плоть моя томилась.
И мне, сказать по правде, невдомек,
Чем я снискал судьбы такую милость.
Играет под сурдинку местный джаз,
Солдатские притоптывают ноги,
Как вдруг — сигнал тревоги, свет погас,
И все в подвал уходят по тревоге...*

Служащий читал наизусть — так доверительно! Голос негромкий, с хрипотцой.

*А мы с тобой крадемся на чердак,
Я достаю карманный мой фонарик,
Скрипит ступенька, пылью пахнет мрак
И по стропилам пляшет желтый шарик.*

В бомбардировочные ночи Москвы мне было пять лет. На первых порах нас уводили в полуподвал. Лучи прожекторов метались над крышей краснокирпичной школы напротив нашего дома. Мы с другом Воликом отгибали, трепеща, уголок черной шторы. Взрослые по очереди дежурили на крыше нашего дома. А эти двое...

*Ты в чем-то мне клянешься горячо,
Мне всё равно — грешна ты иль безгрешна.
Я глажу полудетское плечо,
Целую губы жадно и поспешно.
Я в Англию тебя не увезу,
Во Франции меня ты не оставишь.
Отбой тревоги. Снова мы внизу.
Всё тот же блюз опять слетает с клавиш.
Хозяйка понимающе глядит.
Мы с коньяком заказываем кофе.
И вертится планета и летит
К своей неотвратимой катастрофе.*

Я запомнил фамилию автора — Клиффорд и доверительный голос этого служащего. Потом я узнал, что он и есть Виктор Петрович Астафьев. Он не был схож со своей молодой фотографией. Он не называл себя писателем — служащим он был; и свободен он был в своей службе людям, и начальством для него были люди вокруг него...

Может быть, это стихотворение дало начало такой вещи Астафьева, как «Пастух и пастушка». Хотя он сам говорил, что первой точкой была «Манон Леско» аббата Прево — книга, которую он читал в ожидании поезда на полустанке Горнозаводской линии. Похоже, что он знал и другое стихотворение Клиффорда — «Дежурю ночью»:

*По казарме, где койки поставлены в ряд,
Я иду и гляжу на уснувших солдат,
На уставших и крепко уснувших солдат,
Как они не похоже, по-разному спят.
Этот спит, усмехаясь чему-то во сне,
Этот спит, прижимаясь к далекой жене.
Этот спит, не закрыв затуманенных глаз,
Будто спать-то он спит, но и смотрит на вас...
А у этого сны, как подснежник, чисты,
Он — ладонь под щекой — так доверчиво спит,
Как другие не спят. Как спала только ты.
Он, я думаю, первым и будет убит.*

В этих строчках через повесть «Падучая звезда» высоко ценимого Астафьевым Сергея Никитина, кажется мне, росток романа «Прокляты и убиты».

Стихи Клиффорда я нашел в сборнике ленинградского фронтового поэта Владимира Лифшица — поэму «Порядок вещей» в 23 стихотворениях с биографической справкой и прощанием. Может быть, Астафьев так и не узнал, что это стихи самого Лифшица. Во всяком случае, в 1995 году он пишет: «Решил потряхнуть публику еще раз и написал статейку к стихам Джеймса Клиффорда».

Чем мог удивить меня, ревностного посетителя московских литературных вечеров, в провинциальной Перми, в гнилом северо-восточном углу Европы, вечер Алексея Решетова — юноши из города Березники, работавшего электрослесарем в соляной шахте? Глуховатый голос его замирал в концах строк. Он читал в нарастающей тишине. Стихи сразу запоминались — верный признак естественности и силы.

*Ищите без вести пропавших,
Ищите древних, молодых,
Полотна дивные создавших,
В боях Россию отстоявших —
Ищите их! Ищите их!
На душных стенах одиночек,
В полуистлевших письменах
Ищите днем, ищите ночью
Их золотые имена.
Ищите их по белу свету,
Ищите мертвых и живых!*

*И если всюду скажут: — Нету! —
Найдите их в себе самих.*

Это же про меня! Я искал без вести пропавшего отца, бойца 140-й стрелковой дивизии. Я не знал номеров его полка, его батальона, его роты, его взвода. Но я хотел знать обстоятельства гибели его дивизии, «погибшей на фронте». Именно так — в приказе Сталина, наркома обороны СССР №131 от 27 декабря 1941 года: 140-я стрелковая дивизия, как многие другие дивизии, сгоревшая в Вяземском котле, «исключена из рядов РККА и расформирована, как погибшая на фронте».

Вот так-так! «Как погибшая на фронте...». В своем последнем страшном романе «Прокляты и убиты» Астафьев говорит за всех убиенных, за погибшие дивизии и армии, говорит за их «безмолвный прах».

Не из особого интереса ко мне, а, скорее по любознательности несколько раз в комнате редакторов Пермского книжного издательства он пристраивался к столу Надежды Гашевой, с которой я любил в обеденное время делиться диковинными геологическими историями из сводного тома реферативного геологического журнала, читавшегося в те молодые годы, как собрание сочинений Жюль Верна.

Однажды он даже из коридора пришел, когда я рассказывал о том, что скважины на быстрораствующих голоценовых рифах Тихого океана вскрывали пласт Второй мировой войны, документированного по обломкам самолетов и кокосовых орехов. Я робел, терял дар речи в его присутствии, а он слушал и смотрел очень внимательно. Может быть, ему нужны были какие-то геологические реалии.

«Война на Тихом океане» — так назывались заметки на четвертой странице «Правды», которые я, «пятилетка в четыре года», прочитывал после сводок Совинформбюро. «Война на Тихом океане» — я глянул на него — он смеялся глазами.

Несколько раз я случайно встречался с ним в книжном магазине на Ленина.

— Привет, «Война на Тихом океане»! (Такое прозвище он мне дал, выражая свое отношение к этой войне.) Что купил?

— «Алиса в стране чудес», перевод Демуровой.

— У меня дети повзростали.

— Эта книга скорее для взрослых. «Жизнь становилась всё страньше и страньше».

— Да, не успеваю я читать, что дарят.

В другой раз он почему-то показал мне несколько своих фотографий: «Какая, по твоему мнению, лучше подойдет для «Роман-газеты»?

У него простецкое лицо — лицо человека толпы, серый пиджачок, зеленая рубашка с белыми пуговицами. Незагоревшая полоска на лбу, та, что возникает у зимних рыбаков под кепкой на весеннем льду. У него только что вышла книга «Где-то гремит война».

У меня дыхание перехватило: он, огромный писатель, со мной, мальчишкой, советуется!

После возвращения из Москвы, где он учился на Высших литературных курсах, Астафьев стал узнаваем. Помню, после поэтического вечера народ на крыльце библиотеки им. Горького окружил его, и поэт Радкевич с гордостью сказал: «Витя, вот ты и вошел в колоду: Астафьев, Белов, Распутин. Теперь из колоды не выпадешь». Он имел в виду колоду писательских имен в обзорах «Литературной газеты».

В ту пору после посещения Хрущевым выставки в Манеже и безобразных встреч его с деятелями литературы и искусства вдруг развернулась борьба с «абстракционизмом».

На местах копировали Москву. В Перми взялись за Астафьева. В вину ему вменялись «беспартийность, склонность... к правдоискательству (?!). И самое опасное то, что это выдается за добродетель, за смелость, за новаторство».

*Мой друг,
Ты вел себя бестактно.
А как вести себя?
Абстрактно.*

Он-то не вел себя абстрактно.

Как-то его спросили:

- Про что пишете, Виктор Петрович?
 - Да всё про то же.
 - То есть?
 - Про отцов и детей.
 - А конкретнее?
 - Конкретнее: и те, и другие — сволочи.
- И захохотал необходимо.

— Константин Симонов считал лучшим стихотворением о войне шесть строчек из дивизионной газеты Ленинградского фронта, подписанное без инициалов безвестным лейтенантом Аракчеевым:

*Болото помню, где мы спали стоя,
Где от застоя дохли комары.
Здесь не хотели даже рваться мины,
А шли на дно, пуская пузыри.
И если б не было за ним Берлина,
Мы б никогда сюда не забрели.*

Вот как писать надо! Нам мешает провинциальность мысли. Мы все повторяем друг друга. Борис Ручьев в своем Магнитогорске никого не повторяет. «По земле ходить непросто», «Счастье рядом» — все эти книги про счастье — пустотелые. Писать книги со счастьем на обложке — плёвое дело, а издавать — еще плевее.

Маршал Конев недоволен такими книгами, как «Убиты под Москвой» Воробьева, «Мертвым сраму не имут» Бакланова. «Как же так», — говорит Конев, — я провел великолепную Кировоградскую операцию в январе 1944 года, а вы печатаете Бакланова. Там есть правда, но это правда окопная». А я говорю, что правда бывает только одна — окопная, солдатская, а не генеральская и не лейтенантская.

Нужна работа и работа, чтобы хоть приблизиться к лучшим вещам.

Что еще вспоминается? В магазине «Мелодия» на углу Сибирской и Ленина в отделе классической музыки я несколько раз видел его. Он красиво выбирал пластинку, осторожно держа ее ребра ладонями, не касаясь корявыми пальцами, поворачивал, проверяя, чтобы не было изгиба, искажающего звук.

Последний роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» голосованием членов Русского ПЕН-центра назван лучшим произведением о Великой Отечественной войне. Классический роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» несколько голосов уступил прозе Астафьева, обжигающей каждой строкой.

В 1966 году Алексей Решетов написал эти строки:

*Мне надо бы горькую книгу создать
О жизни и подвиге наших солдат.*

Пророческие слова — «горькая книга» Астафьева, книга Гроссмана о «жизни и подвиге» дополняют друг друга.

Астафьев резко отзывался о Жукове — маршале Победы. Наверняка он знал стихи о нем Бродского:

*Сколько он пролил крови солдатской
В землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
Белой кровати? Полный провал.
Что он им скажет, встретившись в адской
Области с ними? «Я воевал».*

Перед словами «Я воевал» чудится удар кулаком по столу и добавление краткого русского титула для связки речи.

Так вот, с оценкой Бродского Астафьев не согласен. У него сверхжесткая позиция — от имени всех, по вине неумелого руководства проливших кровь в чужую и свою землю, от имени «безмолвного праха», стучащего в его сердце.

Астафьев откровенен: «Раньше я писал то, что можно было печатать, сейчас — то, что хочу». Чем он силён? Свободой, полным доверием читателю:

— Вот я плачу горячими слезами, и ты со мной ревешь, как белуга; я смеюсь, и ты ржешь, как лошадь!

Есть у Льва Николаевича в романе «Война и мир» маленький худой артиллерист с трубкой, закушенной набок — штабс-капитан Тушин. Вот он стоит в одних чулках (сапоги отдал сушить) перед штабным офицером, «улыбаясь не совсем естественно». Офицер недоволен: «Почему без сапог?» — «Солдаты говорят: разумшись ловчее». Маленький человек со слабыми неловкими движениями со своей батареей из четырех пушек оказался в центре сражения. Батальон прикрытия батареи сняли, и артиллеристы Тушина били картечью по наступавшему противнику. Дальше — обычное дело: «Про батарею Тушина было забыто. После сражения, где две трети его людей было перебито, Тушина вызвали к Багратиону.

— Каким образом орудие оставлено?

— Не знаю... ваше сиятельство... людей не было, ваше сиятельство...

— Вы бы могли из прикрытия взять!»

Тушин не сказал, что батальон прикрытия был снят кем-то. Андрей Болконский прервал молчание:

— И ежели, ваше сиятельство, позвольте высказать мое мнение, то успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкостью капитана Тушина с его ротой...»

Только и сказал Тушин князю Андрею: «Вот спасибо, выручил, голубчик». У него язык не повернулся бы самого себя назвать патриотом, потому что, по Толстому, в этом слове «скрытая теплота». Именно так — «теплота» и обязательно «скрытая».

Академик Дмитрий Лихачев заметил как-то, что истинно верующие люди нательный крестик не носят напоказ. Косоворотка, она для чего нужна? Если ворот вдруг распахнется — крест от чужого взгляда уберечь.

Именно сейчас понимаешь, как не хватает нам Астафьева! Всем нам. Никто не смог его заменить. Никто! Его, человека с образованием шесть классов, искалеченного войной физически и душевно, томимого «тоской по мировой культуре». Ведь он, всю жизнь проживший во глубине России — в Перми, Вологде, Красноярске — мировой, а не только национальный писатель. Как капитан Ахав из мелвилловского «Моби Дика», он бросал вызов злу, ненависти, войне и сказал всё, что хотел — «с последней прямо́той».

Раньше он говорил: «Да как же писать надо, когда на тебя Пушкин и Толстой смотрят!», а теперь: «Даже Толстой и никто другой не знает войну так, как я ее знаю». «Кто, кроме нас, это напишет? Кто поймет, как это было?»

Астафьева ненавидели баркашовцы-макашевы, зюгановцы-прохановцы, будановцы-шамановцы. Его не понимала значительная часть нашего общества. Красноярские власти отняли у него персональную пенсию. Он мог рубануть, не различая полутонов. «Я сел и работать начал, а раньше б за топор схватился, рубить бы начал направо и налево».

Он вышел из обоймы, он выпал из колоды, куда его поместили. Он ушел из редколлегии журнала «Наш современник». Он порвал со столь близкими в начале пути Василием Беловым, Валентином Распутиным. Никакой партии не удалось поставить его под свои знамена.

С годами нарастала его нетерпимость к подлости, лживости. Астафьев не верил властям, не верил интеллигенции, не верил генералам, не верил тем, кто врет про войну, кто героизирует ее в книгах, кинокартинах, спектаклях. Он не верил лжепатриотам, не верил националистам всех мастей.

И вот наступил этот день — 9 мая. Какие лица были в этот день у измученных войной людей, какие облака на небе, какая музыка из окон. Как летел над Цветным бульваром довоенный быстрый танец «Цветущий май»! «Брызги шампанского!» «Рио-Рита!» Взрослые говорили: «Это последняя война на планете».

В маленьком кинотеатрике «Экспресс» на углу Цветного бульвара и Самотеки шел трофейный цветной фильм «Багдадский вор». А еще в «Экспрессе» показывали с задержкой на войну предвоенный фильм «Сердца четырех» с Серовой и Целиковской, с Самойловым и Шпрингфельдом. Довоенная Москва, подмосковная веранда, все влюблены — ничего этого уже нет, как и самого «Экспресса»...

Я набегался за день и уснул. Все ушли на Красную площадь. Проснулся от обещанного неслыханного салюта — «двадцать четыремя залпами из двухсот сорока орудий».

*На Трубной помню дом, окно полуподвала.
Уже не опускали синих штор,
И лампа вполнекала освещала
Под вылинявшим абажуром стол,
А за столом отец и сыновья.
Хозяйка им картошку подавала,*

*Чуть слышно было — «Танго соловья»,
Чуть виден — блеск огня из поддувала,
Вернее, отблеск скрытого огня.
Но вот уже и музыка умолкла.
Не мог я оторваться от окна.
Нехорошо смотреть в чужие окна.
Салют! И в небе дерево огня,
И слышалось, как будто сквозь рыдания —
Не жди меня! И эхо — до свиданья!
Не жди меня. Не жди, не жди меня.*

Я понял: если папа не вернулся в этот день, то он не вернется никогда. Я оплакивал его в нашей бедной комнатке, сотрясавшейся от близких залпов и озарявшейся призрачным светом ракет. Так я не плакал, даже когда мама умерла. Она недолго прожила после войны. В Минсельхозе она иногда встречалась по делам с Семеном Михайловичем Буденным, который командовал коневодством. Он отпускал маме комплименты, добродушно разглаживал пушистые усы. Тогда маршал еще не был Героем Советского Союза. Первую звезду ему дали в 1958 году к 70-летию, вторую — к 80-летию, а третью к 85-летию.

Я спускался в пирогe вниз по булыжной реке Колокольникова переулкa, мимо школы, и солнце слепит окна, и напityвается красным кирпичная кладка. Зато глухая щербатая стена во дворе нашего дома тениста, в мазках старой краски. Такой и должна быть настоящая кирпичная стена — потаенной, с выбоинами, руинными краями, с трещинами — разрушенный пейзаж, навевающий меланхолии. Из подвала тянет прохладой, ацетиленом. До поры воспоминание было беззвучным, не хватало детского плача, шипения карбида, «иди ужинать», грохота хлебных поддонов, сочных ударов по мячу.

Теперь можно повернуться к стене, и в туманностях млечной штукатурки, когда сгущаются сумерки, особенно если закрыть глаза — что хочешь, то и увидишь, и меняется свет, и вот уже проступает кирпичная кладка и солнце делает нестерпимым блеск красного кирпича, а окна слепнут, и мы стоим вчетвером перед нашим домом, и я уже знаю, что папы не станет через несколько месяцев, и останется фотография его с другим бойцом, и рука этого папиного друга так хорошо легла на папино плечо. Как-то приснилось — раненого Пушкина несет слуга, никого не подпустил, и Пушкин спросил его: «Грузно тебе нести меня, Никитушка?» — не «грустно», как послышалось Жуковскому, а именно «грузно», и Пушкину неловко было — свалился, как маленький, и несет его Савельич.

Я выучился на геолога и уехал искать нефть на Дальнем Востоке, а потом в Пермском крае. Светлана осталась на нашей комнатке по Колокольникову переулку, дом 8, квартира 6, где когда-то, 7 октября 1940 года, папа писал бабушке письмо в Краснополье.

Плыл надо мной потолок — облака, опаловые облака, гелевые облака — «сквозь серое чуть брезжит синева», это аморфный кремнезем, неровное небо, слоистый дым, течет речка, да по песочку бережочек точит. А может, это не облака, а сизый дым, старая картина в барнаульском доме в эвакуации, акварель, где трава, осока, река, туман над водой, даже будто пахнуло сыростью, а на том берегу — костер, дым над водой стелется.

На маминой могиле Светка посадила цветы. Лучше всех принялись барвинки. Это старое кладбище — Головинское, возле метро «Водный стадион». Ближе всего к Москве в ноябре сорок первого немцы подошли именно в этом месте.

Улицы выносят меня к Александровскому саду.

Не знаю, когда папа в последний раз нажал на спусковой крючок, целясь в того, кто собирался прийти в его дом убить его семью. Не знаю, когда он почувствовал отдачу приклада в плечо. Знаю, что перед смертью он думал о маме, Светке и обо мне.

*В платочке, — деревенская, конечно,
В Москве я видел, женщина одна,
Не сдерживаясь больше, безутешно
У Вечного заплакала огня.
Так плачут на могилах деревенских
В родительские памятные дни,
В пустых квартирах или перелесках,
Когда совсем останутся одни.
В глубинах Александровского сада
Стою, прижавшись к дереву плечом
И горько плачу. Знаю, что не надо,
Но горько-горько плачу я. О чем?
Гляжу на эту женщину, не знаю,
О чем я плачу и зачем в горсти
Багряный гравий медленно сжимаю
И это слово говорю:
Прости.*

Каждый год в конце июня я жду, когда зацветут липы. В 1976-м году они долго не цвели — лето в Перми было холодным, дождливым. Меня послали в командировку в Миннефтепром, и я подумал — может, в Москве они цветут.

Нет, не цвели. Тяжелый дождь. Разрыв в тучах уносил на восток синенький платочек. Я вышел на Чистые пруды. Постоял у дома, где в казенном вестибюле золотом на мраморе — «Вечная память воинам — сотрудникам Наркомата Заготовок СССР, погибшим за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне» и шеренгами — фамилии:

Агеев К.Я.
Архипкин Н.С.
Ваксман И.Ш.
Винников А.Е.
Витягайловский Б.И.
Волков С.Г.
Горшков И.В.
Гутман Н.В.
Дедечек С.А.
Ершов М.В.
Жуков А.С.
Корицкий И.Ф.
Эльяшевич И.Ф.

Как строчки стихов... Эти люди — родные для меня.

*Во глубинах Москвы возле Чистых прудов
Есть одно Министерство — Наркомат заготовок.*

*После давней разлуки, после тяжких трудов
Я туда прихожу, как бы ни был путь долог.
В глубине Министерства горят имена
Ополченцев, убитых в боях под Москвою.
Среди них мой отец. Так и тянет меня
Этот мрамор холодный потрогать рукою
И прижаться лицом к нему, чтобы слова,
Золотые на белом, и справа, и слева —
Поколенная роспись родословного древа —
Зашумели, как будто под ветром трава.*

Наутро я шел в министерство по Пятницкой, по мостику, свернул на набережную. Кремлевские купола отражались в воде, шпильки изгибались. Вдоль берега — рябь. Водомерный катер шел по реке. У подъезда с козырьком стояла черная «Волга» с включенным радио — сообщение о запуске космического корабля «Союз-21» с космонавтами Воиновым и Жолобовым на борту.

На Дальнем Востоке наша нефтяная партия искала нефть в одной из межгорных впадин Сихотэ-Алинь. Позывные радио Владивостока — увертюра к «Хованщине» Мусоргского. Там, на краешке нашей земли, двое мальчишек, поехавшие увидеть уточку-мандаринку: «Здравствуйте, дорогие товарищи, — владивостокское время — шесть часов».

*Когда позывные — «Хованщина» —
«Рассвет над Москвой-рекой»,
Произнести легко ль —
«Дорогие... и еще ...то-ва-ри-щи»*

Я плыл по Москве, и улицы выносили меня на Чистые пруды...

На обратном пути в Пермь одним из моих соседей в купе оказался пожилой человек. Протянул мне руку: «Виктор Григорьевич». Я вышел в коридор. Поезд летел через холодное пространство, прошитое дождем. Дальний лес проступал, голубея, сквозь дымчатый влажный воздух. Когда я вернулся в купе, там всюду спорили. Виктор Григорьевич сидел, неудобно вытянув ногу.

— Да что вы мне говорите — «Случай на станции Кречетовка»!

Имя Солженицына в те годы не произносилось.

— Я сам был в окружении под Вязьмой. Нас было одиннадцать человек. Мы вышли с партбилетами. — Виктор Григорьевич рубил воздух ребром ладони. — С партбилетами, с винтарами. Да, была проверка командного состава. Солдаты снова в окопы сели, а нас, командиров, в Москву повезли. Ладно. Прибыли в Москву. В кабинете «тройка» сидит. — «Ваш партбилет». — «Вот он». — Рассказал, как пробивались к своим с оружием в руках. — «Спасибо за службу», — говорят. — «Служу Советскому Союзу». Повернулся и пошел. А одного следом за мной солдаты провели — голову опустил, петлицы оборваны.

Виктор Григорьевич отстегивал протез.

— Вот так дело было.

— Мой отец был в тринадцатой дивизии ополчения. Потом номер сменили, стала 140-я.

— Жив ли?

— Пропал без вести. Вам помочь?

— Не надо.

Я смотрел на него, стараясь представить, каким он был в октябре сорок первого и каким его мог видеть мой отец. И тогдашний двадцатилетний Виктор Григорьевич мог видеть моего отца — уже немолодого, в нелихо сидящей пилотке, в шинели не по росту.

Я достал из бумажника прямоугольный, в детскую ладошку, обрезок ватмана со скошенным краем. Карандашная линия, штриховка еле различимы. Внизу справа угадывается подпись — «Рисовал С. Коночкин 25.8.41».

— Много народу полегло там...

Я снова в Москве. От Чистых прудов на Сретенку, через Колокольников на Трубу, по бульварам на Пушкинскую, и не заметил, как оказался на Белорусском вокзале перед расписанием поездов. Электрички идут только до Можайска. Вечерний поезд на Смоленск уходил через час. Наугад взял билет до Ярцево.

Я хочу узнать, как дело было. И всё! Маршал Жуков сказал Константину Симонову очень простые слова: «Надо будет, наконец, посмотреть правде в глаза и, не стесняясь, сказать о том, как оно было на самом деле». И всё.

Вагон смоленского поезда — старый, темный, с жесткими скамьями. Столик изрезан ножом. У меня жесткий плацкарт, верхняя полка. Со мной в купе — два разбойного вида парня и маленький солдатик с костью, таких «седыми» зовут. Звенела бутылка, в разбитом кассетнике «Легенда» метался голос Высоцкого. Из-за густого мата смысл разговора становился непонятным. Если перевести на русский, солдатик рассказывал о своей девушке, которая, как стало ему известно от третьих лиц, ему изменила.

— Выпей, земля.

Солдатик пил водку, двигая кадыком. Шея тонкая, как у тех пацанов из подольских училищ.

— Ты держись за меня, дембель, со мной не пропадешь. Плюнь на политотдел, дембель... я помню... из увольнения прибыл в шарфике... кино «Гастроном» первая серия... полковник Кулик-Заболотный... Перцуха на станции Океанская... Станция Веселая, дорога на Шкотово — кенты распивают... Владик... Сад-Город — Сад-Огород... Приобрел дембельскую привычку... Дембельский новый год, прятали водку горлом вниз в печенью — алкаши отменные... Лейтенант зашерстил, иди в часть... На станции Океанская столики. Выпьешь, закусишь, совершишь подвиги геркулесовы, снова выпьешь, вот такие элементы...

— Приеду, убью суку.

— Держись меня, дембель, со мной не пропадешь. То-сё, перцуха, кенты. Смоленск — это тебе не Кандагар.

Солдатик уронил на грудь детскую стриженую голову.

— Убью суку.

— А я скромненьким считался. Через это дело в увольнение попадал. Вино в разлив, стойка и ни одной военной собаки. Хорошо!

Я вышел в тамбур посмотреть расписание. Старик с наградной колодкой угрюмо смотрел в окно.

— Протопи ты мне баньку по-белому, — задышался Высоцкий.

Поезд приходил в Ярцево в четыре утра. Вязьма, Издешково, Сафоново, потом Ярцево, дальше Кардымово, Колодня, Смоленск. Я прижался лбом к грязному стеклу. Мимо проно-

сились мутные деревни. Изредка вспыхнет полустанок, колеса простучат по мосту, и снова деревья подступают к дороге. Надо сказать проводнице, чтобы разбудила.

— Дембеля Новый год отмечали, спиртяшку припрятали. Лейтенант зашерстил...

— Я отмахнулся...

— Училку встретил старую. Она мне: что ты читаешь, мой мальчик? А я ей говорю: устав читаю, Мария Петровна, устав караульной службы...

Солдатик с костылем мотал золотыми кудрями:

— Убью.

Ветеран сказал мне вполголоса:

— Какое скотское, однако, человечество воспитали.

Я не поддержал разговор, вернулся в купе.

— Ребята, как мне лучше добраться до станции Игоревская? Билет до Ярцево взял.

— Не, это вам до Сафоново надо. Оттуда рабочим поездом, который до Владимирского тупика. Доедете до Игоревского леспромхоза.

— У меня в тех краях отец погиб. Дорога на Холм-Жирковский, на Вязьму. Хочу глянуть на эту дорогу. Отца-то и не помню почти. Запах липы запомнил...

Я говорил, торопясь, упреждая тот прежний, с унылым матом, тягостный разговор.

— Приеду, убью суку, — мотал золотой головой солдатик.

Свет в вагоне сменили на ночной.

— Ладно, спать пора, — сказал я.

— Батя, ложись на нижнюю полку.

— Да это... ничего, — растерялся я.

— Ложись, батя, ложись.

Батя!

Я вышел в Сафоново. Поезд до Владимирского тупика уходил в шесть с минутами. Я ходил по перрону. Паровичок, кряхтя, подтащил четыре стареньких вагончика. Народ в полутьме заполнял вагоны. Люди здоровались друг с другом. На меня поглядывали — кто таков? Я был чужаком.

Медленно уползал к северу паровик — в подлесок, в леса, в глухие лесные места — Сурово, опорный пункт «14-й километр», Вадино, Стаховская, Яковская.

Станция Игоревская против ожидания оказалась довольно большой. Леспромхоз, завод древесно-стружечной плиты. Я огляделся, пошел к магазину, спросил дорогу на Холм-Жирковский.

— Да вот же она, на Холм идет, мы его еще Жирки называем.

Дорога уходила в лес.

— Вы давно в Игоревской живете?

— Я? После войны живу здесь. Маленький поселок был тогда. А вам что здесь нужно?

— Я хочу посмотреть места, где отцовская дивизия воевала. В устье Вязьмы, на Днепре оборону держала.

— Какие-то железки, сынок, вытаскивали из Данилина пруда и дальше еще — из Колокутного, — сказала пожилая женщина с будто заплаканными глазами.

— Когда?

— Не упомню, сынок.

— Наши танки?

— Может, наши. А может, немецкие. Может, когда немец наступал, может, когда наши.

Сынком она меня назвала. То батя, а то вдруг сынок. А я в ту пору уже хорошо сесть начал.

— Пойдешь по дороге, сынок, деревни увидишь, справа — Тетерино, слева Лухово. Может, еще кто-то что-то и помнит. Мой-то не вернулся тоже.

Игоревская... И вспомнил я друга своего детства Всеволода и брата его ленинградского — Игоря.

...— Я сама с Жирков. Ну так принесу к памятнику яичек на Пасху, Рождество, какие-такие дни поминальные. Посижу, сынок, поплачу. Один раз то ли во сне, то ли по телевизору казали. Я еду на телеге коло могилки, а бойцы вышли с могилки, сено мне накладывают. Я высоко сижу на сене-то. А они говорят: не упади, баушка. Довольны, что я их поминала... Старые люди, может, что и помнят, сынок.

Мужик у магазина дымил сигареткой, уютно пуская дым в серое небо.

— А давай, парень, я тебя свожу туда, — (вполголоса — торжественно) где Днепр начинается. Никто не знает, а я знаю. Здесь недалеко. Дежурство сдам, возьмем трактор, чугунку, ети его душу, и поедем, и помчимся...

— Какой трактор, я по дороге пойду.

— Храни тебя, Господь, — это женщина с выпланными глазами коснулась корявой рукой моего плащика...

Гулко отдавались шаги. Дождь пошел — мелкий, холодный. Я поднял лицо... Я вышел к заболоченной речушке. Сел на поваленную лесину. Я поднял голову, ловил холодные капли — чувствовал сердце.

Прошибло: Холм, Игоревская.

На обочине драная телогрейка. Видать, шофер лежал под машиной.

Темнело. Я ловил попутку. Росло в темноте маленькое пламя, разрасталось, и вот уже большое, желтое, бьет в глаза, расплывается, гремит и уносится в темень, «Темную ночь» вспомнишь и «Жди меня».

*Вхожу в село, ищу себе ночлег.
Его в селе найти нетрудно, вроде,
Все избы одинаковы, у всех
Шатром строила, баня в огороде.*

Это Днепр. Эта река — Вязьма. Где погиб папа? У Горбатого моста, у деревни Кошкино? На Богородицком поле? А может, отец всё-таки вышел из окружения? Кто его помнит, кто был рядом с ним? Может быть, Коночкин, может, кто-то из тех, кто на мраморной холодной доске в доме, что на Чистых Прудах.

Из читаного. Рассказ В. Пановой — военфельдшера 6-й дивизии:

Медсестра Родионова Прасковья Родионовна привела с собой Сашку, парнишку лет шестнадцати. Он стал наводчиком в артдивизионе. Дружил с красивой санинструкторшей Леночкой.

«Когда я вернулась, Прасковья Родионовна выстиранные бинты сматывала. Спрашивает меня, не поднимая головы:

— Заезжала? Ну как наши?

— Плохо наши... — Говорю, а сама слезы глотаю. — Саша...

— Ранен?

— Убит».

Его с Леночкой убило одним снарядом. Сашу разорвало пополам.

Прасковья Родионовна больше ничего не сказала. Она трудилась и весь следующий день... Только под вечер, уже в сумерках, ушла в соседнюю рощицу. И там закричала...» Закричала! «И там она закричала...»

Еще. Б. Зылев из той же 6-й дивизии: «Пылали в ночи две деревни — немцы облили дома бензином. Они пылали в ночи, пламя металось. И Луна вышла из-за туч. Луна горела ровно. Генерал-майор Козлов — в форменном пальто с каракулевым воротником дал ясную каждому команду:

— Направление на Луну — вперед бегом.

Ополченцы прорвались в лес. И вот они переходят железную дорогу и попадают на поле, уставленное стогами сена. За ним — уснувшая деревушка. Но стога стали танками, и автоматы палят из деревни.

Измотанные добровольцы бросаются вперед — на автоматы и танки с гранатами и бутылками. Бой длился несколько минут. Потом они шли ночь, и день, и еще часть ночи. Засыпали на ходу, целыми шеренгами валились на снег».

«В селе за рекою погас огонек».

Каждая выемка казалась мне окопом, каждая ложбина — отсечной позицией.

До Игоревской я добрался, стараясь ничего не забыть и не расплескать. Тот же промасленный тельник на обочине. Залез в знакомый теперь старый вагон допотопного поезда и теперь не был здесь чужим.

- В марте телка будет гуляться, бычка требовать...
- А я телку, эти ее мать, красавицу купила, что ты...
- Чего сейчас не жить, Ивановна. Умирать не надо. За хлебом в Сафоново всегда на паровозе, эти его мать, можно съездить...

Поезд тащился через лесную сторону, прошитую дождем. Мне почудился, что ли, запах цветущей липы?

Ольга Кныш

Скачи, враже, як пан каже

(главы из книги)



Ольга Николаевна Кныш (1939–2019) родилась в деревне Куцевщина в Белорусской ССР. В 1952 году её семья переехала в Челябинскую область РСФСР. В 1962 году Кныш вышла замуж за Ю. А. Мельникова, через два года у них родилась дочь Марина, а в 1969-м — сын Алексей. Ольга Николаевна около 30 лет (1962–1992) работала на заводе «Кристалл» в городе Южно-Уральске Челябинской области.

Начиная с 2011-го я начал записывать её рассказы. Зачем? Затем, что мне надоело придумывать сюжеты. Тусклые и бледные — на фоне подлинных событий, на фоне подлинных страданий.

Иногда я включал диктофон. А порою вёл запись по горячему следу. Мама что-то расскажет, я тут же записываю. В 2015 году записи попали на страницы журнала «Вещь». Через год вышла книга Ольги Кныш «Тярпи, Зося, як пришлось...», через пару лет — «Любить як душу, трясти як грушу!»

Вниманию читателя предлагается фрагмент из третьей книги воспоминаний «Скачи, враже, як пан каже...».

Алексей Мельников

Знакомый рассказал: «Помнишь фильм «Москва слезам не верит»? Там фраза есть: «Я думаю, в Сочи — хотя бы раз в жизни, отдыхал любой советский человек». Это москвичка говорит...

А моя мама — нет, не москвичка. Родилась мама в 1934 году. Десять маме стукнуло, в пионеры приняли. Это 44-й год. Еще года через два — дали маме путевку. В пионерлагерь. А в какой? Аж в «Артек»! Это 46-й год. Наградили за пятерки, круглая отличница! Училась мама в средней школе, в селе Исетском Тюменской области. Путевку-то дали! А денег-то нету. От Тюмени до Крыма — больше трех тысяч верст! На какие шиши — туда ехать? Денег колхозникам не полагалось. А тут не деньги — деньжищи надо...

Чего делать? Выдали маме взамен путёвки — ведро гороху. Ведёрко то есть — чуточное...»

Глава первая

Дай Бог не подохнуть!

Это я слышала от знакомой. Она ровесница Лене, моей родной сестре. Обе-две родились в 32 году...

«Батька родился — Бог весть когда! Но еще в XIX веке. Это мама говорила. Звали батьку Францем. Был он чех, а жил в Австро-Венгрии. Было у батьки три брата: Антон, Эдуард, Иосиф. Вот 1914 год, началась война мировая. Батьку на фронт угнали. На восточный, где Россия. Вскоре батька в плен попал. Сперва работал в шахте, потом на руднике. В 18 году — войне конец пришел. Батька остался в России...

Когда батька встретил маму? Я не знаю. Но моя старшая сестра — родилась в 25-м, это точно. Прошло семь лет. В 32-м — родилась я сама. Прошло шесть лет. В 38-м батьку забрали. Как сейчас помню! Заявились ночью, все одеты в черное. А батьки дома нет! Он робил по сменам и ушел в ночную. Пока его дождались — без дела не сидели. Перевернули весь дом вверх дном. Вот лежит «Мойдодыр» — моя книжка с картинками. Они на пол ее — швырк. Я испугалась — книгу

затопчут! А вслух ни слова. Страшно же мне! И сестре страшно, и маме тоже. Глядь, батька — в дверях, они — на него. Слава Богу, дали проститься. Он меня целует, а щека колется! Щетина ночная...

Прошло четыре года. Как мы жили? Вспоминать не хочется! В 42-м из Свердловска — выслали нас в Щелкун. Это село в Сысертском округе, в Свердловской области. Не к родне мы попали — к знакомым. У них и жили сперва. Потом изба нашлась для нас. В шести верстах от Щелкуна. Подальше от людей? Нет. Подальше от начальства! Очаг был там, а не печь. Топили по-черному! Тяжело? Было б чем топить, так жить можно. Нам дали дровишек на первое время. И дали топорик...

Уже год шла война. Хлебца не было в продаже вовсе. Давали только на карточки! На мамину карточку — восемьсот грамм на день. И нам с сестрой — еще восемьсот, по четыреста на душу. Мне уже десять лет стукнуло. Нет, в ту зиму (1942–1943) я не училась. Не до учёбы было. Дай Бог не сдохнуть от голоду...

Глава вторая

Я заболела энцефалитом

Через год — пошла в школу. В сентябре 43-го. Чему нас учили? Убей Бог, не помню! Главное, кормили! Варили картошку, варили капусту. Ох, и вкусно! У каждого школьника — своя чашка. Не то что дома — одна миска на троих...

Канцтовары? Даже слов таких не знали! Чернила — из сажи, тетради — из газет, чернильница — из пузырька. И вдруг Мышонок, то есть Борька, принес химические чернила. Это была просто мечта! Борька — мой сосед по парте. Почему Мышонок? Был он мелкий, очень шустрый. Глазки — черные и круглые. «Борька, дай чернил!» «Не дам». «Тогда я тебе не дам — списывать контрольную!» Уломала я его. Еще через день — влепили нам по «двойке»: «Оба хороши, оба виноваты! Одна — дала списать, другой — списал у ней. Слово в слово! Что заслужили, то и получили...»

Ну да, школа — в Щелкуне, а изба — в шести верстах. Каждый день не находишься! Сил нет таскаться, слишком харчи тощие. Угол я сняла! Жила в семье, где мать да четверо детей, всего — пять душ. Я варила ту картошку, что от мамы приносила. Было вкусно, только мало! Вот 44 год. Май — позади, урокам — конец. В июне — меня взяли на работу. Писать-то я могла уже! Вот контора в Сысерти — бумаги я им разбирала. Робила два лета. Слава Богу, давали восемьсот грамм хлеба в день. Я — труженик тыла, и документ есть...

Май 45-го — это Победа! И в том же мае — я заболела энцефалитом. Клещей было очень много! Бегали мы босиком — что по лесу, что по траве. Там-то и цапнул меня клещ. А мы-то в Свердловск с сестрой собрались! Вышли на Челябинский тракт. И давай голосовать! А машин нет и нет. Наконец грузовик тормозит. В кабине места нету. Мы лезем в кузов. И тут пошел холодный дождь! Все восемьдесят верст, что ехать до Свердловска, мы под дождём тряслись. Через два дня я заболела. Началось с головы. Долго ставили диагноз. Не могли они решить — отчего меня лечить! Брали жидкость на анализ — из спинного мозга...

Глава третья

Вырежут сердце, печень достанут!

В 48-м мне стукнуло шестнадцать лет. Выдали мне паспорт. Я перебралась из Щелкуна к тетке в Свердловск. Работу нашла — кассир-приемщик. Прошло десять лет. В 58-м выдали справку о смерти папы. Прошло еще сорок годов. Можно сказать, вся жизнь прошла! В 98-м, слава Богу, открыли архивы...

Не я одна была, много людей туда пошло. Сидели, читали, ревели. Смутно я помнила, что батьку взяли — чуть ли не 7 ноября! Аккурат на праздничек. И вот теперь читаю! Мол, батька — зав. пекарней был. Мол, на носу — годовщина Великого Октября. Мол, задержал он выпечку хлеба — аж на два часа! Сажу и думаю. Может, не он задержал? А муку, к при-

меру, поздно привезли! Кто теперь разберет? А тогда батьку живо — записали в шпионы: «Родился в Австрии?» Значит, австрийский шпион. «Она звалась Австро-Венгрия?» Значит, венгерский шпион. «Родители — чехи?» Значит, чешский шпион. Нет, даже хуже! Чехословацкий...

Читаю про батьку: «Отправлен с этапом в Вятлаг». Это значит — Вятские лагеря. Вятский край — говорили тогда. Нынче говорят — Кировская область. Написала я туда, мне в ответ: «Отправлен с этапом в Унжлаг». Это значит — Унженский лагерь. Речка течет, Унжой кличут. Тогда это была Костромская область. А сейчас — Варнавинский район Нижегородской. Больше я про батьку не нашла ничего. Думаю, в Унжлаге он и принял смерть. Прошло четыре года, поехала я туда. Летом в 2002 году. Мне уже семьдесят годков сроднялось! Лагерь, что мне показали местные, был на тридцать тысяч душ. Помню, жара стояла страшная. Речка, Унжа та самая, обмелела вовсе. А если в батькино время так? И есть нечего, и пить нечего! Не дай Бог...

Когда Хрущев обругал Сталина? Еще в 56 году, на XX съезде. Но Унжлаг простоял до 63 года. Так местные говорят. Когда лагеря распустили, многие ээка никуда не поехали. А многие школьники вели дневники. Вот над ними я сидела — целый день. На улице — буря. Дождь проливной и ветер бешеный! А я сижу в школьном музее. Дневники читаю. Костромские леса — гибельные места. А уж при Сталине! Кормили заключенных худо. А работать заставляли день и ночь. В воде по пояс, в снегу по грудь. И живые ээка — иногда ели мертвых. Ночью разроют ямину свежую. Вытащат тело, вырежут сердце, печень достанут. И бегом назад! До подъёма, если Бог даст, и сварить, и сжевать успеют...

Глава четвёртая

Полицай на воле, партизан на зоне

Знакомый рассказал: «В Белоруссии дело было! Жили-были двое братьев. Оба-два

деревенские. Оба родились — в 1922 году. Обоим в 41-м — по девятнадцать стукнуло. Только в армию — не забрали их! Почему? 22 июня — немец напал. 1 июля — Минск уже под немцем. 7 июля — под немцами вся Беларусь...

Первый брат подался в партизаны. Может, был он комсомолец? И не стал немцев ждать! Не стал ждать, когда повесят. А второй братеньник — пошел служить к немцам. Черная папаха, черный полушубок, сапоги черные. Шибко ли он зверствовал? Бог весть. Но ведь немцы же не дурни! Хлебом даром не кормили. Значит, была за вторым вина! Может, и кровь была на нём. Прошло три года. Лето 44-го — с немцами второй братеньник не ушел. Вот пришли наши. Взяли его за хрип, отправили в Сибирь...

Лето 45-го — наш партизан домой вернулся. А в селе мужиков — раз-два и обчелся. Будешь председателем! Так ему велели. Да только ненадолго. То ли проворовался вправду? То ли донос кто написал? А только — посадили его! И туда же, в Сибирь увезли. Это лет через пять, в 50 году примерно. Партизана увезли, полицей вернулся! То ли мало ему дали? То ли срок ему скостили? А только вот он — пришел назад. И вскоре стал председателем. В том же колхозе! Еще пять лет прошло...

Лето 55-го — партизан из тюрьмы воротился! Глядь — жена почти старуха, куча детей и хата старая. А полицей чего? При молодой жене и в новой хате. Свиделись братья, выпили, закусили. «Как же так? Ты же враг!» «Недотёпа ты, братеньник! У тебя брат кто? Полицей! Вот и живётся тебе худо. А у меня брат кто? Партизан! Вот и живу я хорошо...»

Глава пятая

«Ну, хлопцы, на расстрел!»

«Вот 18 год. Двадцать три года батьке сровнялось. Белые угнали батьку. Белочехи? Может быть! Вся же Башкирия — была под белыми. Служит батька месяц, служит и другой. А красные-то жмут! Батька подбил дружка.

И оба-два в бега! Карталинские леса — ох, и глухомань там. Непролазные, густые! Там и схоронились. Встретили башкира, он их взял в работу. Первач они гнали! Деньги-то были не в ходу. Керенки — без толку, ленинки — без пользы. Золото, серебро? У селян не водилось. Самогон — валюта! Однажды вышло как? Утром встал батька. Глядь, а первач уже пьют! Там бадья стояла, только без крышки. Ну так вот, в бадье — крыса плавает. Вылить первач? Еще чего! Там литров десять. Крысу за хвост и швырк на двор! Башкир же не видал ее. Гнали первач месяц, гнали его два. А там и красные пришли...

Вот 41 год. Сорок шесть батьке уже сровнялось. В июне — напали немцы. В сентябре — батьку угнали в Красную Армию. В ту же осень — попал в плен. Вот сидят они, чуть не сотня душ, в холодном сарае. Входит немец: «Ахтунг!» И рукой машет — на выход, мол. Кто-то сказал: «Ну, хлопцы, на расстрел!» А у выхода — офицер стоит: «Шё-орники и-есть?» Сбрую лошадиную, видно, чинить некому! «Так точно, есть, герр офицер!» Это батька вызвался. И еще один хлопец. Даром, что батька — ни сном, ни духом по шорному делу. Зато напарник — рукастый был. Он батьку живо натаскал. Месяц сбрую починяли. И вот опять — приказ на выход! Батька в слёзы: «Не стреляйте вы меня! Пожалейте, Бога ради. У меня же — сын и дочка...»

Немцы не слушают, гонят к оврагу. Перепсиховал батька, перепугался! Дали первый залп. Он упал без памяти. Отключился со страху! Ночью холодно стало — батька в память пришел. Слава Богу, прикладом не добились, штыком не докололи. Пополз батька наугад. А куда ползет? Бог весть! Встретил поляка, просит помочь. «Помогты нэ могу! Сам нимцив боюсь. Вот табе хлеб, коровай целый. Вот табе дорога, вон там — фронт. Даст Бог, дойдешь!» Повезло батьке. Дошел до наших...

Вот 45 год. Полста лет батьке уже сровнялось. В мае — наши разбили немцев. В марте — батька на побывку пришел. Легли с мамой. А утром — батька ушёл. В декабре я родилась. А в 46-м батька опять прибыл. Насовсем, не на побывку! Демобилизовали...»

Глава шестая

За год до гибели

«Наш батька — моложе вашего! Наш родился 30 марта 1912 года. Вот 29 год. Всех селян в колхоз погнали. Обложили нормами! Яблоня — твоя, яблоки — не твои. Корова — твоя, молоко — не твое. Груша — твоя, груши — не твои. Курица — твоя, яйца — не твои. Слива — твоя, сливы — не твои. Только успевай сдавать! Надоело это батьке. Вот 32 год. Завербовался батька в Комсомольск-на-Амуре. Работал ударно, я думаю. Иначе зачем вербоваться? Не про батьку сказано: «Мы работы не боимся, на работу не пойдём!» Год не то два прошло. Стало быть, в 34-м не то 35-м батька назад вернулся, в посёлок Восток. Почему? Бог весть. Может, платили мало? А то в лавке продуктовой — взять было нечего? Может, жилья не дали? Или ворья — было много! Это же Дальний Восток. Да еще в 30-е годы! То ли дело — родной посёлок. Все друг друга знают...»

«Женился дурнэ, взял бесновату. Не знали, шо робить — запалили хату!» Однажды почти так и вышло. Батька и маты в церковь ушли. Мы, дети, в хате остались. Двое малых, а третья — я, постарше на год. Под самым потолком — конопля сушится, на веревке висит. Гляжу я — волос пристал к веревке. Дай-ка я, думаю, запалю волосок. Красиво же будя? Хватъ из печки уголек. Запалила! Волос мигом вспыхнул. А за ним — конопля. А за ней — веревка. Пых-пых-пых — и все сгорело. Только дым столбом! Ну я к малым: «Ни слова батьке, ни слова маты!» Вроде, поняли. Сидят молча. Ну, батька — не дитё. Он сразу мне: «А дэ же конопля?» «Не вем!» «Як так — не вем? Та шо вона, сгорыла — чи шо!» «Так, батьку, сгорыла». «А кто подпалыл?» «Никто, вона сама!» «А дыму было богато?» «Та ни, ни богато!» Тут батька к младшим: «Ну, сколько дыму было?» Они в ответ: «Ну, пуда два...»

«Андрый-Допустым. Это сосед наш. За что прозвали? Заикался он. Одно-два слова скажет. И запнется надолго. Вот и завел он себе привычку. Скажет: «Допустим!» И ну молчать.

Будто бы с мыслями собирается. А он с языком совладать не может! Ну вот, как совладает — будя дальше речь держать...»

«Ерофея Федотовича, батьку нашего, расстреляли в 37-м. Значит, дело было в 36-м, а то и раньше. Пришла я на вечёрки! Хлопец там один: «Ты мэни глянешься! Мэни жинка потребна. Я приду табэ сватать!» Шо? Ни! Хлопец тот мэни не нравился. Но я подумала: нэхай приходит! Мне злякатыся нечего. Мэни за него не отдадут! Но батька и маты поймут, шо я большая уже. Дивчина, а не дитина! И вот вин приходит. Батька Ерофей — на печи лежит. Маты Варвара с ухватом — у печи. «Доброго вичиру!» «И табэ тоже». «Вот, прийшов свататься!» Маты: «У нас невесты нэма, у нас только дэтына». А батька ноги с печи спускает: «Ни, ни, ни! Не слухай ты её. И горилку ни уноси! Ставь на стол. Зараз ужин соберём»

Глава седьмая

Умер наш Казик!

«Казимир Федотович — родной брат Ерофея Федотовича. Казимир тоже попал под репрессии. В 1937 году. Только дали ему — не 58-ю статью, пункт 1-й. Измена родине! Нет, ему дали — 58-ю статью, пункт 2-й. Вооруженное восстание! Стало быть, не расстрел, как у Ерофея. А десять лет лагерей. И угнали Казика в Дубравлаг. Это в Мордовии, Zubovo-Polyanskiy район. Точней не скажу! Там и сейчас — аж пятнадцать лагерей. А сколько было при Сталине? Бог весть! И тогда, восемьдесят лет назад, и теперь — там держат политических. В том числе — иностранцев. Даже негры есть. В 43-м — Казик там умер. Отчего? Витамина С не хватало! «Где витамин Це? В сальце, в яйце и в масле!» Понятно? Казик наш умер от голоду...»

У Казимира было три сына. Старший — тоже Казик (Казимир), потом — Фаня (Стефан), а младший — Мечик (Мечислав). Казик работал директором школы. И вёл уроки истории. В 41-м Казика угнали на фронт. На передо-

вую, видать, не попал Казик. И слава Богу! В 43-м в СССР создали дивизию имени Костюшко. Первая Варшавская польская пехотная...

Целая дивизия — только из поляков. «Поляк по бумагам?» По книжке красноармейца. «Марш в дивизию Костюшко!» И звания дали — польские, не советские. И стал наш Казик — старший поручик! И служил дальше — уже в составе Войска Польского. Когда война закончилась, Казика снова вернули в РККА. В Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Тут он стал майором...

Почему у Казика — аж две медали «За победу над Германией»? Она же, согласно статусу, один раз вручалась! Дело было так. Сперва — польское командование вручило Казiku эту медаль. А после 45-го — такую же медаль ему вручило советское командование. Еще поляки Казiku дали — медаль за Померанию и «Крест храбрых». Его учредили — в декабре 44-го. Видать, дали его в 45-м. И обе-две награды эти — только в 50-х дошли до Казика. После 56 года? Ага, поближе к 60-м...

Демобилизовали и Казика, и Валю — примерно в одно время. Валентин — родной брат Алексея, моего батьки. Валя демобилизован был — в 53-м, тогда советские войска ушли из Порт-Артура. В тот же год, когда умер Сталин? Ну да! Уйти решено было — еще при жизни Хозяина. Валю демобилизовали, но в Башкирию он не поехал! Напротив, на Дальний Восток, наш Валя перетащил всех! Все четыре души. Казик, Фаня, Мечик, мама — вдова Казимира. Ну как сюда, в Южно-Уральск — первой приехала Зоя. Это моя старшая сестра. Потом — я, потом — Надя, потом — Лиза. Это мои младшие сёстры...

Валя и Казик, Фаня и Мечик — все там женились. Валя и Казик — там же учились, техникум кончили горный. Только один — в шахту попал, а другой — на механизмы. Там — это Ленинск-Кузнецк, город в Кемеровской области. Батька мой, Алексей, лес валил там же, в Кемеровской области. Пилой водил с напарником: «Себе, тебе, начальнику...» Батька там отмотал — все свои шесть годков. От 47-го до 53-го...

Глава восьмая

Подохнут с голоду

«Батька наш, Алексей Ерофеевич, родился в 1912 году. Вот июнь 41-го. Батьке нашему — двадцать девять. Тут же, летом, угнали в армию его. Воевал батька наш — под генералом Власовым. Ну да, тот самый. «Генерал-предатель!» Так заявляли советские новости. «Спаситель России от ига коммунистов!» Так утверждали немецкие новости...

В ту же осень — батька наш в окружение попал. Первым долгом комсомолец — в окружении что делал? Свой билет изничтожал. Рвал, жёг, ел — уж как выйдет! То же самое — делал коммунист. Партбилет свой рвал и жёг. Ну, батька наш — и в комсомольцах не был, и в коммунистах не состоял. Почему? Так ведь Ерофея Федотовича (нашего деда) расстреляли в 37-м как врага народа...

Трое хлопцев — они на фронте держались вместе! Старший лейтенант и двое рядовых. Один из рядовых — это батька наш. Все трое — земляки, с Башкирии родом. Вместе они воевали, вместе в окружение попали. И на немцев напоролись — тоже вместе. Немцы согнали в одну толпу чуть не сто душ. «Юден, коммунисты, комсомольцы, командирен? Шаг вперед!» Всех, кто вышел, расстреляли. Потом немец гаркнул: «Кто лапти плести может? Шаг вперед!» Старший лейтенант батьку нашего в бок толкает: «Выходи!» «Я не мОжу!» «Научу!» Вышли все трое. Третий, видать, тоже умел...

Загнали их в баньку тесную. Выдали им солому. Поставили часового. «Арбайтен!» Ну да, лейтенант — батьку нашего научил. Плетут в шесть рук, стараются! Ну, пашут как Карлы. Солома вышла, спросили еще. Это первый день. На другой день — снова солому просят. А на третий — лейтенанта за соломой отпустили немцы. Ну, и произвёл он — разведку на местности! В ту же ночь удрали...

Хоронились в лесу. Как немцы не нашли их? Искать не с руки! Осень, холод, слякоть. Ну, сбежали трое русских? Да чёрт с ними, пускай мёрзнут! А потом — подохнут с голоду. Вошь тепло любит! И немец — таковский. Не станет он по холоду таскаться...

Глава девятая

Три осколка — в грудь попали!

Вот самолет летит советский? Это беда! Немец не дурень. Он тоже видит — звезды на крыльях. Куда мешки упадут — туда немцы побегут. А наши хлопцы — бегом оттуда. Что в мешках? Может быть, листовки. Может, провиант! Осень, холод, слякоть — и день, и ночь. Костёр? Нельзя! Немцы заметят. Чего жевать? Ягоды, коренья — ими сыт не будешь. А холод все шибче. И белые мухи вот-вот полетят. Лягушек ели. Сырыми прямо...

Вышли к своим. «В особый отдел, шагом марш!» Слава Богу, все трое — немцам не служили. В карателях не были то есть. А про лапти — молчок! «В штрафбат направить, чтобы кровью искупили!» Батька наш думает: теперь смерть верная. Погонят на мины — поминай как звали. Но в первом же бою — повезло батьке нашему. Ранило его, в руку ранило. Не тяжело. Главное же — не самострел! Ранение — в зачет пошло. Из штрафников — в обычную часть перевели. А там нашего батьку — вскоре послали в разведку. Не его одного, дело ясное. Но именно батьке нашему — оторвало два пальца на левой руке. Разрывная пуля! Безымянный и средний — от каждого по фаланге осталось. Батька наш после — делать любил как? Скубал себя то по груди, то по плечам — этой пятерней куцей. Выпьет рюмку — и ну скубать! Скрести то есть. То там, то тут. И скажет еще: «Эх, жаль, рука левая! Была бы правая — комиссовали бы подчистую...»

Дальше батька наш воевал — в той же самой части. Ранило миной! Аж три осколка — в грудь угодили. Самый большой — повыше, средний — ниже, самый меньший — еще ниже. Помню все три шрама. У меня вот — один сейчас шрам. Зато во всю грудь! Это было шунтирование — в 2011 году. А у батьки нашего — аж три шрама! Видать, все осколки — на излёте были. До сердца не дошли! Сперва батьку нашего — в полевой госпиталь. Потом — в Калинин. Это сейчас Тверь. Там нашего батьку сняли на карточку. Это самое старое фото, что есть! Стандартное, три на че-

тыре. Внизу справа — белый уголок для печати. Батька наш — худой, стрижка — короткая, бинт на груди...

Глава десятая

Девять лет отсидел

Вот 1947 год. Батьке нашему — тридцать пять. Он — бригадир в нашем колхозе. Идет страда. Убираем хлебушек. И вот мешок — полста кэгэ пшеницы. Вряд ли украсть наш батька хотел его! Когда воруют — концы хоронят! А тут что? На закате дело было. И батька наш прилюдно — кинул мешок в телегу. Да кликнул — хлопца, хлопцу — семнадцать годов. Велел: «Езжай на мельницу! Надо смолоть зерно...»

Бригада — это десять ртов, никак не меньше. Их кормить надо. А не то ведь — урожай не соберут! Вроде всё ладно? Ан нет! Везде уполномоченные мотались. По всему Кармаскалинскому району. Солнце тем часом — почти что село. Уже смеркается, и на дорогах — телег немного. Хлопец с мешком едет. А навстречь ему — уполномоченный! «Чего в мешке?» «Та хлиб же!» «А бумаги на него?» «Та нэма бумаг! Ну яки бумаги в поле? С полевого стана еду!» «Езжай за мной!» Бумаг нэма — нет ясности. Может, украсть мешок хотят? И батьку нашего, и хлопца этого — под суд. Батька наш — уже не молод, позади — фронт и плен. Молчал батька наш, я так думаю! А хлопец — еще телёнок совсем. Страшно был напуган. Лишнее сказать мог...

Обоим дали — по десять лет. Батька наш шесть отбыл — грянула амнистия. Та самая, летом 53 года! Чуть раньше, в марте — помер Сталин. Чуть позже, в декабре — Берию расстреляли...

Хлопец, батькин подельник, девять лет отсидел. Стало быть, в Александровку вернулся в 56-м. После XX съезда. Когда Хрущёв признал: многие сидят зря! Помню я этого хлопца. На речку вместе бегали. В трусах мы — не купались. Купались нагишом! Глядь, а у хлопца — татуировки. Наколки то есть. На одной ноге: «Их не догонишь!» На другой: «Им ну-

жен отдых!» Были еще, всех не упомяну. Ух, как тогда я удивился! Где я наколки прежде мог видеть? Кроме эков, их никто не колот. А в нашей Александровке — не то что эков, вообще мужиков — было двое всего. Куда делись остальные? Кого в тюрьму посадили, кого на фронте убили...»

Глава одиннадцатая

Все еще помнили — время при Сталине!

«Дело было при Хрущеве. Стало быть, не раньше 1953 года. И не позже 1964-го. Вызвали деда Кирилла в НКВД. За ним из Уфы — подвода пришла. Перед уходом — стал он прощаться: «Я ни в чым не виноват перэд этой властью! Яка там полытика? Даже не украл нийчого! Разве что матом послал начальство...»

Страшно же было! Все еще помнили — время при Сталине. До Уфы довезли — на казенной подводе. Но в Уфе — дед Кирилл но-

чевал у родных. Позволили! Утром повели деда к особисту. И тот пытал его — подряд четыре часа. «О чым балакали? Та обо всим — и ни о чым!» Потом фамилия какая-то проскочила. «Нека людына, моих годов, с наших краев. Я же — самый старый в Александровцы! Трэба думать, за той хвамилией и вызвали...»

То есть вызвали его, чтобы справки навести. «Ох, як же я злякався там!» Слава Богу, отпустили. Обрато дед — пешком дошёл. В калошах по грязи...»

Вспоминают родственники: «Это соседка наша. То ли с мужем неладно было? То ли коханий был у нее, а муж проведаль? А только решила она убиться. Дождалась, пока в избе никого не будет. Сняла с гвоздя ружьё. Поставила таз — у самых ног. Да из ружья — в себя пальнула. И до того удачно! Вся кровь — в тазу. Ни капли мимо! Ни на половицу, ни на стенку, ни на половик...»

Саша Андер родился в 1997 году в Вольске. Поэт, прозаик, переводчик, художник. Учится в магистратуре Института философии человека РГПУ им. А.И. Герцена. Публиковался в самиздате «Феромоны» (2018); альманахе «Черные дыры букв» (2021), автор книги стихов «Фаталь оргазм» (2022). Живет в Санкт-Петербурге.

Виталий Аширов родился в 1982 году в Перми. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Публиковался в журналах «Нева», Homo Legens, «Урал», «Вещь», «Крещатик», «Зеркало», на онлайн-ресурсах «Текстура», «Литература», «Полутона», «Топос» и др. Автор книги «Скорбящий киборг. Диаманда Галас за пределами ультра-модернизма» («Кабинетный ученый», 2019). Лауреат премии журнала «Урал» и премии им. Людмилы Пачепской. Живет в Перми.

Владимир Бекমেетьев родился в 1991 году в г. Кизел Пермской области. Окончил философско-социологический факультет ПГНИУ. Тексты публиковались в журналах «Вещь», «Здесь»; интернет-изданиях «Полутона», Stenogramе, «Артикуляция». Лонг-лист «Премии Русского Гулливера» (2014), «Премии им. Евгения Туренко» (2016) и «Неистовый Виссарион» (2019). Автор книги стихов «Недужный падеж» (2017). Живёт в Перми.

Иван Белецкий родился в 1983 году в Краснодаре. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Волга», «Зеркало», Prosōdia, «Полутона» и др. Автор книги стихов «Край утопии» (2022). Основатель музыкальной группы Dvanov. Живет в Санкт-Петербурге.

Семен Ваксман (1936–2021) — прозаик, поэт. Родился в Ставропольском крае. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (1959). С 1963 года жил в Перми. Публиковался в журналах «Вопросы литературы», «Уральская новь», «Вещь», альманахе «Третья Пермь» и др. Автор книг «Лик земли» (1967), «Златые горы» (1989), «Условный знак» (1991), «Дым» (1999), «Я стол накрыл на шестерых: роман» (1999), «Путеводитель по Юрятину» (2005).

Алина Витухновская родилась в 1973 году в Москве. Публиковалась в журналах «Смена», «Арион», «Птюч», «Новый мир», «Октябрь», «Лилит», Schreibeft, «Дети Ра», «Квир», сайтах «Полутона», «Топос», «Новое время» и др. Автор 17 книг стихов и прозы. Лауреат литературной стипендии Альфреда Топфера (1996) и премии «Нонконформизм» (2010). Член Союза писателей Москвы и Международного ПЕН-Центра.

Влад Гагин родился в 1993 году в Уфе. Окончил филологический факультет СПбГУ. Публиковался в журналах «Новое литературное обозрение», на сайтах «Греза», «Цирк «Олимп» + TV», «Флаги», «Артикуляция», «Сноб», «НЕЗНАНИЕ» и др. Один из редакторов проекта Stenogramе. Входил в шорт-лист премии Аркадия Драгомощенко (2019). Автор книги стихов «Словно ангажированность во тьме» (2020). Живет в Санкт-Петербурге.

Катерина Гашева родилась в 1990 году в Перми. Окончила психологический факультет ППГУ. Лауреат «Илья-премии» (2004); поэтической номинации фестиваля им. Валерия Грушина (2008), участница Форума молодых писателей России в Липках (2009, 2010), финалист премии имени Максимилиана Волошина (2011). Шорт-листер премии «Дебют» в номинации «Фантастика» (2011). Автор книги рассказов «Первая линия» (2019) и повести «Штабная» (2021). Живет в Перми.

Георгий Звездин родился в 1978 году в Перми. Победитель II межрегионального фестиваля литературных объединений «Глубина» (Челябинск, 2008). Публиковался в журнале «Воздух», «УралТранзит», «Вещь», в альманахе «11:33» и Антологии современной уральской поэзии (2011). Живёт в Перми.

Терентий Кондратенко родился в 2001 году в Санкт-Петербурге. Учится на историческом факультете РГПУ им. Герцена. Ранее не печатался.

Андрей Малышев родился в 1977 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский областной университет имени А.С. Пушкина. Автор книги «Ад разбегается» (2020). Живет в Санкт-Петербурге.

Рамиль Ниязов родился в 2001 году в Алматы. Окончил Открытую литературную школу Алматы (семинар Павла Банникова). Учится на факультете свободных искусств и наук СПбГУ. Лонг-лист премии Аркадия Драгомощенко (2019). Публиковался в сборнике квир-поэзии «Под одной обложкой», журналах TextOnly, «Дактиль», «Незнание», «Литература» на сайте «Полутона» и в поэтической антологии «рассажженный огонь». Живёт в Санкт-Петербурге.

Андрей Пермяков (настоящее имя Андрей Увицкий) родился в 1972 году в Кунгуре Пермской области. Окончил Пермскую медицинскую академию. Кандидат медицинских наук. Стихи, проза и критические статьи публиковались в журналах «Арион», «Воздух», «Волга», «Дети Ра», «Знамя», «Новый мир» и др. Автор двух книг стихов и трех книг прозы. Лауреат Григорьевской поэтической премии (2014) и премии журнала «Новый мир» (2020). Живет во Владимирской области.

Сергей Уханов родился в 1975 году в Барнауле. Окончил медицинский университет, по специальности не работает. Публиковался в «Митином журнале», «Носороге», «Русской прозе», «Вавилоне», на ресурсах Colta.ru, Snob.ru и др. Автор поэтических сборников «Дерзкий язык» (2009), «Фьють» (2014), «Базель» (2021) и книги рассказов «Черная молюфья» (2011). Живёт в Санкт-Петербурге.

Вячеслав Хисамутдинов родился в 1982 году в городе Чусовой Пермского края. Окончил Пермское педагогическое училище и филологический факультет ПГПУ. Публиковался в сборниках «День открытых окон» и «Узнай поэта!». Автор книги стихов «Марианская лужа» (2022). Живет в Перми.

Сергей Фионогин родился в 1990 году в Москве. Учился в Московском социально-экономическом институте и в школе современного искусства «Что Делать», профессионально занимался боксом и баскетболом. Публиковался на сайтах «Литературная Карта», «Квирикультура России», «Полутона», «Плавучий мост». Автор книги стихов «Письмо, телесность, урбанизм и другие тексты» (2020, под именем Татьяна Инструкция) и сборника эссе «Мелкая моторика» (2022). Живёт в Санкт-Петербурге.

Вещь: Литературный журнал. — Пермь: Издательство «Сенатор», 2022. — 124 стр.

Редактор:
Павел Чечеткин

Выпускающий редактор:
Юрий Куроптев

Дизайн обложки:
Иван Моисеенко

Верстка, дизайн:
Евгения Тесленко

Корректор:
Марина Артемова

Иллюстрации из книги Д.А. Крадмана «Полный курс шведской системы физических упражнений» — Ленинград: Государственное издательство, 1923

Рукописи для публикации принимаются по электронному адресу:
e-mail: senator.perm@gmail.com

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вещь» обязательна.

Тираж 200 экз.

Адрес редакции:
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 21
Тел. (342) 212-32-17
e-mail: senator.perm@gmail.com

18+

Проект осуществлен при поддержке Министерства культуры Пермского края

© «Вещь», 2022
© Авторы, 2022
© Издательство «Сенатор», 2022

